

АЛЕКСАНДР

СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

АВГУСТ

ЧЕТЫРНАДЦАТОГО

КНИГА 2

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Собрание сочинений в 30 томах

Александр Солженицын

**Красное колесо. Узел 1. Август
Четырнадцатого. Книга 2**

«WebKniga»

1971

Солженицын А. И.

Красное колесо. Узел 1. Август Четырнадцатого. Книга 2 /
А. И. Солженицын — «WebKniga», 1971 — (Собрание сочинений
в 30 томах)

ISBN 978-5-9691-1042-7

Восьмой том содержит окончание «Августа Четырнадцатого» – первого Узла исторической эпопеи «Красное Колесо». В нём не только завершён показ и анализ Самсоновской катастрофы, но дан художественный обзор царствования последнего императора Николая Второго вплоть до Первой мировой войны и ярко представлена фигура премьер-министра П. А. Столыпина, его труды, реформы и трагическая смерть.

ISBN 978-5-9691-1042-7

© Солженицын А. И., 1971

© WebKniga, 1971

Содержание

Узел I	5
Книга 2	5
* * *	5
49	5
50	9
51	17
52	18
53	22
54	23
55	26
56	30
57	33
58	35
59	38
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Александр Солженицын
Красное колесо
повествование в отмеренных сроках

Узел I
Август Четырнадцатого
10 –21 августа ст. ст

Книга 2

* * *

49

(Обзор действий за 16 и 17 августа)

Германцы завершают окружение к вечеру 16-го. – Русские и не пробуют прорвать кольцо извне. – Приказ штаба фронта Ренненкампуф остановиться. – Передёргиванье, приказ идти на Алленштейн. – Переброды кавалерийской дивизии Толпыги. – Весь день 16-го 1-й русский корпус не наступает. – Движение отряда Сирелиуса на Найденбург в ночь на 17-е. – Франсуа утром 17-го. – Контрнаступление! – Пленение Мартоса. – Окружение затрещало. – Укрепление кольца. – Сирелиус потерял время. – Дезертирство генерала Кондратовича. – Пустая активность Жилинского вослед.

Шоссе Найденбург – Вилленберг как будто и прокатано было для того, чтобы скорей протянулись по нему подвижные части Франсуа на соединение с Макензеном. Это шоссе, без предчувствий пересеченное центральными русскими корпусами несколько дней назад, теперь за спиною их обратилось в стену, в закол, в ров. Недолго для ночёвку, передовые части Франсуа ещё до рассвета 16-го поспешили дальше, к Вилленбергу, местами громя обозы и случайные русские части. Сопротивляться тут было некому, и к вечеру Вилленберг заняли. Правда, на пройденных сорока шоссе-ных километрах остались лишь прореженные чёрточки застав и патрулей – окружение пока пунктирное. Более суток ещё предстояло одной из дивизий Франсуа растекаться по этому шоссе и занимать его.

Так же и от Макензена, по дорогам худшим, спешила передовая бригада, для облегчения сбросив ранцы на обывательские подводы, а то и сами на них. С севера на юг свисал Макензен к тому же шоссе, ещё выставляя отряды в бока – к Ортельсбургу и в глубь лесов, к окружаемому центру.

К вечеру 16-го если клещи и не сошлись захватами вплотную, то оставался между ними десяток вёрст непрохожего, бездорожного дальнего леса, о которых русским и не догадаться было и не доехать туда. Но Гинденбург, подписывая вечером приказ на 17-е, ещё не мог быть уверен в успехе окружения: в остальном полукольце, такие острые накануне, бои стали вялыми. Несколько схваток у межозёрных проходов вполне задержали преследователей. И не было никаких сил защититься, если бы русские 16-го прорывали кольцо извне.

Но они не пробовали.

Сквозь пунктир окружения прорвалось последнее донесение Самсонова от вечера 15-го августа – и поступило в Белосток утром 16-го, как раз перед завтраком Жилинского и Орановского. Сообщал Самсонов, злополучный упрямец и неудачник, что отдал приказ всей армии отходить на линию Ортельсбург – Млава, то есть почти на русскую границу. Этот жребий он и заслужил, этого и можно было ожидать, и очень хорошо, что инициативу и позор отхода он взял на себя, не спрашиваясь у штаба фронта. В благоприятное утро за завтраком (когда в Хохенштейне был уже окружён обречённый Каширский полк) Жилинский-Орановский решили, что напрасно они вчера понудили Ренненкампа наступать в пустое место, откуда Самсонов, теперь очевидно, уже ушёл. И тут же телеграфировали: «Вторая армия отошла к границе. Приостановить дальнейшее выдвижение корпусов на поддержку».

А Ренненкампа только накануне после обеда и тронулся, его корпусам до сегодняшнего сражения по недостижимо-ровной прямой было сто вёрст, коннице семьдесят. И он охотно тут же в полдень распорядился: корпусам – остановиться, а завтра отходить.

Но некая новая тревога проскользнула к Жилинскому-Орановскому в Белосток. И в два часа дня они послали Ренненкампу противоположную телеграмму: «Ввиду тяжёлых боёв, которые ведёт Вторая армия, направить выдвинутые корпуса и кавалерию на Алленштейн». (Почему – на Алленштейн? Как можно было в трезвом состоянии направить *восемь дивизий* туда, где уже вторые сутки наверняка никто в их помощи не нуждался?)

Это почасовое передёргивание приказов как успешно отозвалось на движении войск, могут судить люди с военным опытом.

Распорядясь такими огромными массами вдали от поля сражения, Жилинский-Орановский уже не стали утруждать себя передвижкой фланговых корпусов поблизости от сражения, да и непорядок был вмешиваться в их жизнь, минуя командующего армией. Тем более, что Благовещенский стоял на днёвке, вот разве кавалерийской дивизии от него – для приличия куда-нибудь наступать.

И пришлось кавалерийской дивизии Толпыги среди дня выступать в поход. По пути её оказался заклятый Ортельсбург, ещё вчера пустой (когда велел Самсонов удерживать его во что бы то ни стало), а сегодня с рассвета оттуда постреливали. Поэтому кавалерийская дивизия обошла город стороной и покинутой местностью осторожно продвигалась в указанном зачем-то направлении – пока опять не показался противник. А уж темнело, и лес – невыгодные для кавалерии условия. И рассудил генерал Толпыго, что лучше всего воротиться к своему корпусу. И хотя ворочаться ночью тоже было нелегко и небезопасно, однако к утру вернулись. Чтó во всём этом рейде случилось забавного: спугнули немецкого генерала, командира дивизии; сам он ускачил в автомобиле, а шинель осталась, а в ней карта, а на карте пометки, как Макензен окружает центральные русские корпуса. *Никакого хода этой карте не было дано* (так спокойней).

А вот 1-му корпусу не было благовещенского покоя: как ни далеко откатился он, но и туда в ночь на 16-е добрался капитан от Самсонова с приказом: для облегчения положения центральных корпусов, окружённых противником, немедленно наступать на Найденбург!

(И если бы тамошние полтора корпуса действительно *немедленно* двинулись бы на Найденбург, то в середине дня 16-го при подавляющем преимуществе они безпрепятственно бы

в него вошли, и не только бы развалилось окружение, но, как это случается в маневренной войне, корпус Франсуа оказался бы в тесных клещах с угрозой ответного окружения.)

Однако, и ясный приказ получив, дюжина сведенных генералов из разных дивизий и отдельных частей не могли так просто собраться и выполнить его. И полковник Крымов, кого Душкевич избрал себе начальником штаба корпуса, не мог сплотить генералов. Понятно было, что приказ придётся кому-то выполнять – но кому? В отсутствие безусловно высшего начальника всякий генерал мог отстаивать, что: не его часть пойдёт и не под его командованием. *И весь день 16-го августа* шёл во Млаве генеральский торг: из кого составить сводный отряд и кому вести. Выходило так, что единственный совсем нетронутый был лейб-гвардии Петроградский полк из раздёрганной гвардейской дивизии, а остальные батальоны, эскадроны и батареи будут уже добавочные, и потому вести отряд в отчаянное это предприятие выпадало командиру варшавской гвардии петербургскому генералу Сирелиусу.

После всех споров и сборов Сирелиус выступил в шесть вечера, и то лишь с головою отряда, – с тем, что и остальные поочерёдно следом пойдут. Вечер и ночь, никем не замеченный и никем не препятствуемый, отряд Сирелиуса проходил свои 30 вёрст – и первое столкновение с немецким заслоном имел 17-го поутру в пяти верстах от Найденбурга.

А в небе над ним появился германский аэроплан.

Генерал Франсуа уже две ночи пробыл в Найденбурге, уже два вечерних приказа Людендорфа здесь получил и посмеивался: Людендорф еще не чувствовал окружения, он больше готовился против Ренненкампа. Ночь на 17-е не давали спать Франсуа по его же приказу: на рыночную площадь на выставку тянули и тянули трофейные русские пушки. Франсуа просыпался и записывал удачные фразы для мемуаров. Утром «прекрасного гордого дня» своей жизни он вскочил напряжённо-свежий, хорошо позавтракал, выслушал донесения, послал торжествующую телеграмму Людендорфу и, вот-вот прославленный на Германию и даже всю Европу победитель при новых Каннах, вышел на крыльцо идти смотреть трофеи. Но раздался в небе моторный гул: это возвращался разведывательный аэро, посланный проследить, как отступают русские. Не томя генерала ожидать посадки и доставки, пилот тут же, на мостовую перед отелем, аккуратно сбросил пакет. Франсуа улыбнулся, похвалил. Адьютант кинулся, поднёс пакет генералу, распечатали: «Аппарат... лейтенант... маршрут... сброшено... Колонны всех родов войск... голова – 5 км южнее Найденбурга, хвост – 1 км севернее Млавы...»

И – как в той игре, где от верхней клетки неудачным броском кубика сверзаются на исходную первую, сияющий победитель тут же принял строгий вид ученика, у которого всё впереди. Перекинул донесение штабистам, но и без их расчёта понимал, что колонна в 30 километров – это корпус. Взрыв решений! – распоряжения только устно, для письменных времени нет. Резерв – два батальона? идти навстречу противнику и принять бой! Ещё батальон в караулах? – снять караулы! Южнее города ни одной германской батареи, севернее – две? перевести на юг! А с шоссе никого не снимать, окружение должно остаться! В городе русские пленные? – вести их на север. Там под Сольдау осталась ландверная бригада? – гнать её сюда. Откуда ещё можно снять? Телефонный доклад в штаб армии. Обстрел города – и связь прервалась. Ничего, автомобилей много, снесёмся на них. Рвутся над городом русские шрапнели. Падают фугасы. Штабу корпуса более здесь не место. Отступить? Нет, наступать! По шоссе на Вилленберг!

На радиаторе – жёлтый лев. Сын – записывает мысли полководца. А во встречном автомобиле везут русского генерала, взятого в плен на рассвете. Остановка, выводят. Он измучен, одежда рвана лесом и пулями, губы запеклись. Но хотя ему лет 60 – строен и легкоподъёмен, какими не привыкли видеть русских генералов. В руке задержалась бездельная тросточка. Это – полный генерал, и можно догадаться, какого корпуса: того, который целую неделю лупил Шольца. Выйти ему навстречу, пожать руку, сказать несколько слов похвалы и утешения: смелый генерал никогда не застрахован от плена.

Посланный к Найденбургу как бесполезный посыльный, Мартос уже сутки бродил по окраине Грюнфлиссского леса, не имея никого для атаки города, неделю назад им же и взятого. Казачий конвой разбежался, накрывала Мартоса близкая шрапнель, с четырёхсот саженьей, ночью у шоссе поймал его прожектор. Ружейный огонь в упор, начальник штаба корпуса убит. Переломлена шпага Мартоса, и переломки отданы немецкому офицеру.

Но с удивлением и надеждой прислушивается сейчас Мартос, что по Найденбургу бьёт артиллерия русская с *юга*. Так ещё неизвестно, кто кого окружает?.. С радостью видит он безпорядок в немецких обозах и нервность пехоты.

Франсуа:

– Скажите, генерал, как фамилия того командира корпуса, который сюда идёт, я ему предложу сдаться?.. Да не возьмётесь ли вы поехать предложить им сложить оружие?

Мартос оживился – и сразу:

– Поеду!

Франсуа, охлаждаясь:

– Нет, не надо.

Мартоса посадили в автомобиль между двумя маузерами и погнали по шоссе через Мюлен, так и не взятый им. В маленькой гостинице в Остероде к нему вышел Людендорф. «Скажите, в чём заключалась стратегия вашего генерала Самсонова, когда он вторгся в Восточную Пруссию?» – «Как корпусной командир я решал только практические задачи». – «Да, но теперь вы все разбиты, и русские границы открыты для нашего продвижения до Гродно и до Варшавы». – «Я – был в равных силах с вами, а имел перевес в бою, много пленных и трофеи».

Вошёл Гинденбург. Видя Мартоса глубоко расстроенным, долго держал его руки, прося успокоиться: «Вам, как достойному противнику, возвращаю ваше золотое оружие, оно будет вам доставлено».

Но – не было возвращено. А посажен был Мартос под конвой и повезен в Германию в плен до конца войны.

До утра 17-го крепился Людендорф, а как раз утром 17-го доложил в Ставку, что совершено крупнейшее окружение! – и через полчаса телефонный звонок Франсуа взвыл о помощи, и связь прервалась. Тотчас были отобраны у Шольца с преследования три дивизии и за 20, 25 и 30 километров посланы на помощь к Найденбургу. В следующие часы пришло донесение, что несколько конных дивизий Ренненкампа углубляются в Пруссию! Ещё один авиатор донёс, что русский отряд идёт и к Вилленбергу!

Окружение затрещало.

Но генерал Сирелиус против восьми комендантских рот простоял десять часов, ожидая подхода всего корпуса. К вечеру 17-го он вытолкнул немцев из Найденбурга, да уж поздно было ему прорываться к своим ещё несколько вёрст: уже сто орудий поставили против него, и со всех сторон шли германские подкрепления.

А Жилинский-Орановский в далёком Белостоке узнали обо всех событиях не от лётчиков, не от разведки, не из донесений командиров действующих частей, но – от генерал-дезертира Кондратовича. Кондратович, ещё 15 августа сняв с передовой полдюжины рот для собственной охраны, бежал за русскую границу в Хорзеле и день 16-го провёл там в тревожном ожидании конных ординарцев: возьмут ли верх наши или немцы? В ночь на 17-е стало ему ясно, что победили немцы. И тогда, изобретательно покрывая своё дезертирство, он подошёл к телеграфному аппарату, доложился как только что прибывший и благодарному штабу фронта дал о центральных корпусах те разъяснения, которых тому неоткуда было получить.

В неурочное время были подняты из постелей Жилинский-Орановский (может быть, близко к тому, когда Самсонов заводил для выстрела свой револьвер) – и после спокойного дня свалилась на них ночная обязанность спасать, решать, выходить из положения. Накануне представлялось, что за проигрыш операции, за отступление Второй армии ответит Самсонов:

ведь это *его* был приказ отступать. Теперь же оборачивалось так, что Жилинский не распорядился вовремя Второй армии отступить, – и как бы часть вины за окружение не пала и на него. Какой же выход? Составить такую телеграмму: «Главнокомандующий приказал отвести корпуса Второй армии на линию Ортельсбург – Млава...», и не помечать её точным часом, и будто бы она послана была Самсонову, а не наша вина, что линия туда не доходит.

А теперь – Ренненкампуф снова: «Организовать поиск конницей для выяснения положения генерала Самсонова». Благовещенскому: «Сосредоточиться к Вилленбергу» (не надо прямо, что – *брат*). Кондратовичу: имеющиеся у него силы (его охрану) собрать к Хоржеле (где он и сидел), откуда в связи с Благовещенским *действовать по обстоятельствам*. Лётчикам: искать штаб армии, 13-й и 15-й корпуса где-нибудь между Хохенштейном и Найденбургом, и все эти приказы сообщить словесно, ни в коем случае не бумагою. А уж 1-му корпусу: *постараться занять Найденбург!*

Да бишь и с 1-м корпусом как бы не было неприятности: ведь с 8-го августа есть разрешение Верховного выдвигать его дальше Сольдау, а мы не использовали, спросят с нас.

50

Группа Воротынцева. – Ночёвка в скотобойном доме. – Лесной рассвет. – Встреча с дорогобужцами. – Расспросы. – Как дорогобужцы шли. – Кормёжка. – Тамбовские. – Вместе?.. – Воротынцев и Ленартович под носилками мёртвого Кабанова. – Выбор места. – Качкин может и так и этак. – Панихида в утреннем лесу.

Если б не чёткие просеки, в таком лесу двигаться ночью было б никак нельзя. Но счёт и расположение просек точно совпадали с немецкой картой, и, проверяя карту при редких спичках, и сам проходя лишнее для сверки, Воротынцев обвёл свою группу в обмин безлесного треугольника и привёл точно к тому отдельному двору в лесу, который и намечал.

Это – не домик лесника оказался, а что именно – они без света не поняли. Тут были сложены какие-то плоско загнутые твёрдо-мягкие предметы, на них натыкались. Лишь потом, найдя и засветя лампу, увидели, что измазались шароварами, сапогами, а кто и руками – в кровь. То были скотьи шкуры, здесь забивали скот. Зато ж был и колодец – напиться, отмыться, ещё напиться. Зато было вяленое и копчёное мясо – больше, чем они могли съесть и унести, хлеба немного и огород. Благодарёв нашёл набор тесаков и длинных ножей с негнуткими полотнами. Выбрал себе. И Воротынцев взял за пояс маленький ладный топорик. Всё это они искали и добывали, остерегаясь со светом, а потом, сытые, повалились и поспали немного – трое, Воротынцев же был на часах.

Со своим характером он бы и не заснул: план выхода, расчёты и надежды выхода сверлили его, и теперь, пока это не сбудется, не мог бы он расслабиться и заснуть. Забегали мысли и дальше: что и как он расскажет в Ставке, если выйдут. И как это подействует.

Не подбодрять себя от засыпанья, но умерять от нетерпенья надо было. Воротынцев прохаживался по просторному травяному двору, лишь отступя обставленному овалом дружного высокого леса, чёрной стеной. А над поляной он оставлял шире себя овал неба в звёздах, потом через него потянулась полоса лёгких клочковатых облачков, а они были чем-то освещены, неизвестно откуда, давали общий нежный свет, на этом свете отдельно ясно вырезывались ближние высшие лесные вершины. Ни вид, ни дробность, ни малая скорость облачков не предвещали непогоды, и хорошо! Близ полуночи заволакивало небо даже сплошь, но потом опять расчистило. Ночь попрохладнела, а роса была невелика.

Рядом рушилась целая армия, гибли полки, дивизии – а грохота не было. От Найденбурга и со всего немецкого запада не слышалось ни выстрела – как будто немцы остались довольны уже достигнутым, насытились, не собирались преследовать.

Оставалось меньше звёзд. Из глубокого ночного цвета небо серело и, если б не звёзды, казалось бы пасмурным сплошь. Наступал час, когда цвета вообще нет: серое небо, а всё остальное обще-тёмное. И если б никогда не видел, например, зелёного, то не мог бы его вообразить ни по деревьям, ни по траве.

Не ждать было дольше. Воротынцев пошёл будить. Харитонов проснулся легко, как не спал, а только ждал, когда послышатся шаги. Ленартович от касания вздрогнул, как от удара, но поднялся без промедления. Арсений мычал, неразборчиво не соглашался, пришлось его рвануть за два плеча – проснулся, но лежал, отдуваясь.

Ещё подгруженные теперь мясом и скотобойным оружием, они вышли снова гуськом. Ветку, или фигуру, или ствол можно было увидеть только на просвет неба. Всё остальное виделось слитно-густо, неразделённо.

Недолго досталось поспать, но сегодня голова Ярослава была свежей и твёрже вчерашней. Каждый день ему было лучше, только оставались вдавленными уши, и оттого на слабых шорохах онемел, огрубел для него лес. Ещё в госпитале он позавидовал, что не служил у такого быстрого, сообразительного полковника с летучим светлым взглядом, – и так освободился и обрадовался, когда набрёл опять на него в лесу, да ещё оказал ему услугу картой. Худо было с армией, с полком, и свой взвод он потерял, но сам не мог попасть в лучшие руки, чтобы вернуться в свою единственную, любимую, ни на что не обменимую жизнь.

По светлеющему, безлюдному, но настороженному утреннему лесу они прошли с проверкою пересечений два квартала и повернули по просеке же, а та перешла в уширенную изгибистую вырубку. Светлело быстро, удлинялся просмотр до ста, до двухсот саженей – и тут они увидели, как тою же вырубкой поперёд их шли люди. Военные. Не в касках, в фуражках. Свои. Медленно. Нагруженные, несли тяжёлое на плечах.

Другой и дороги не было, нагонять их. Заметили и те, отстали двое с винтовками и расходились по краям вырубки, но Воротынцев поднял фуражку, помахал. Опознали. Четверо сзади нагоняли быстро, легко. И восьмеро передних поставили на землю двое носилок.

Прутяные носилки, оплетенные по жердям и с привязкой чурочек как ножек, – быстро сработано в лесу топором и мужицкой рукой, Ярослав таких и не представлял никогда, не знал, что сделать можно.

На задних носилках лежал покойник – большое, плотное тело. Белым платком с узелками покрыто лицо, а погоны – полковничьи. На передних – поручик с толсто-обинтованным коленом при отрезанной штанине шаровар. Все же десятеро пеших были нижние чины, ни одного унтера, и почти все в возрасте, запасные. В серо-голубом рассвете, вблизи, уже и лица были видны – охудавшие, вваленные, кто с кровавыми запеклинами, и в одежде ошмыганы все. Восьмеро носильщиков не были налегке: у всех винтовки, и отвисали с поясов тяжёлые подсумки, не по одному; а двое свободных солдат нагружены были и сверх.

Откуда же? Кто? Воротынцев и поручик Офросимов представились, поздоровались. Обе руки поручика были здоровы, вся верхняя половина его, он мог и командовать, и стрелять, лишь не мог идти. Смоляной шерстоловский грубоватый поручик говорил с хрипотой, не очень складно, не очень и охотно, как будто устал рассказывать, будто всю лесную дорогу их задерживали и расспрашивали. Поручик приподнялся на носилках на локоть, но при земле было и это, Воротынцев присел к нему на корточки. А все десять солдат Офросимова не отошли от офицерского разговора, как полагалось бы, но обстали и обсели кругом тесно, равными соучастниками дела, и даже, один, другой, вставляли по несколько слов. (И Ярослав подумал: как хорошо! да ведь так бы и надо всегда с солдатами! Если уж поровну смерть делить – так и всё остальное!)

Все они были – из Дорогобужского полка, позавчера оставленного арьергардом. И *там* они отбивались. До темноты. Штыками больше, патронов не достало. Сильно не достало. (Теперь, наученные, что патроны нужнее хлеба, они и нагрузились по пути от брошенного другими.) *Там* полк их лёг. Сохранилось из рот, ну, по дюжине человек. Да где по дюжине...

А полкового командира их, Кабанова, они взялись в Россию снести. В России похоронить.

Вот только это они рассказали. Раненый угрюмый поручик. И десятеро солдат. Из тех офицеров поручик, каких Ярослав не любил: наверняка картёжник и матерщинник с анекдотами сальными, несмешными. Но сейчас: как, значит, солдаты его любили, если с кряхтением и передышками, через моченьку несли! Что за герои! И что за бой это был, со штыками против пулемётов, против пушек! Сколько ещё в том бою надо было угадать, что Ярослав не мог!

Только это они рассказали. В круговой сплотке ещё минуту молча постояли, посидели. И вот-вот должны были разойтись по своим местам поднимать носилки: разный был путь на выход. Вот-вот должны были разойтись, но ещё одну доверчивую минуту медлили. (И задумал Ярослав, чтоб любимый его полковник взял под свою руку и этих дорогобужцев тоже, ну куда они сами? ну что ему стоит!)

А Воротынцев, и сам с такой же ссадиной кровавой на челюсти, ловя не именно эту доверчивую минуту, но ловя недознанное им в операции, уже раскладывал карту по иглам и шишкам, уже тянулся руками и мыслями к тому неизвестному дальнему погибшему полку:

– *Там* – это где ж вы могли стоять?.. Какой же дорогой вы прошли? Сколько вёрст?

И ещё раньше, чем от поручика, услышал от солдат:

– Да вёрст сорок будя...

– Може и больше...

(Сорок вёрст! – и несли! И как же веру их, силу их не поддержать?!)

Не много и поручик мог по карте, потому что все эти дни был без карты, знал только Деретен и компас на юг с расчётом на тот узкий межозёрный проход, которым и наступали прежде. А дальше и солдаты вперемежку не меньше могли объяснить: дубососновым лесом шли, горки да горки; *линию* переходили; хутор разорённый; лес долгий; перешеек, заросший сплошь; село с церковью; реку бродом; а дальше наших войск – тьмотемно, поперёк текли; да только...

Да только дорогобужцы из мёртвого полка уже как бы не относились к своему корпусу – расплатились с ним за всю войну. В тот Успеный денёк они как бы уже перебыли все в мертвецах, и у кого ещё ноги двигались – вольны были теперь уходить как хотят. Они своими животами небронёными уже прикрыли раз отход всех остальных и больше не были перед ними в долгу. Они не объясняли этого прямо, может и сами этого не охватили, но так выступало из их слов сказанных, а ещё – промолчанных, из их особого соучастия, как они разговаривали с чужим полковником, и – из двух пар носилок, по отшибным лесным местам пронесенных без ропота сорок вёрст. (По меридиану тридцать, а с извилинами натягивало больше сорока.) И так со своим бывшим корпусом они не смешались, его дорогу переступили, видимо, тайком – и просекали лес по своему отдельному замыслу, не подневольному, не по команде и погонке унтера и явно не по команде Офросимова, ибо не мог он приказать себя раненого сорок вёрст нести на плечах. Что там было до третьего дня между ними – взаимное порицанье ли, досада, теперь всё было прижжено тем смертным днём.

Так нехотя они свою тайну выговаривали, что лишь к концу сказали – а от кого бы скрывать? – что выносят они и знамя Дорогобужского полка. Оно обмотано по телу поручика.

У Ярослава защекотало в горле. Он завидовал Офросимову: вот именно так с народом слиться! вот с этой надеждой он и шёл на военную службу! А у него орёл Крамчаткин оказался и дурень, и стрелять не умеет, а Выюшков – плут и вор. Если б смел, Ярослав шепнул бы сейчас полковнику, теребнул бы его тихонько: «Давайте возьмём их с собой! какие благородные сердца!»

И кажется – полковник догадался! Уменьшая карту в подворотах, спросил громко:

– А когда вы ели, ребята? Есть будете?

Промычали. Будем.

– Вот хорошо, и нам нести меньше. Отходи-ка все вон туда, под деревья, и с поручиком, на просвете не надо. Арсений! Раздавай мясо дочиста.

Благодарёв посмотрел, брови изогнул, кашлянул – так ли понял. Оттащил и свой большой цыганский узел. На колени к нему опустился, развязал, стал скотобойным ножом мясо отхватывать и раздавать.

– Да-а-а, тряхануло вас, мужички! Я смотрю – тряхануло.

Дорогобужцы оказались яро голодны, и лопатки говяжьей не должно было хватить на завтрак. Да было и кроме.

А Воротынцев отходил и смотрел в лицо покойного, поднимал покров. Тянуло и Ярослава подойти, посмотреть в лицо героя, уже отменное ото всего живого, а какими-то чёточками ещё и то, с каким позвал он дорогобужцев в последнюю контратаку. Но неловко было соваться, не посмел.

Небо над соснами голубело, а там, где остался дымок нерастянутых облачков, – их забирало розовым. Опять занималось погожее тихое утро, не ведая никакой войны. Да близкой стрельбы и не слышалось, смутная далеко была.

– Я и чувю – ты не тамбовский ли, – говорил Арсению пожилой, борода веником, рассудительный. – А уезда какого?

– Да Тамбовского ж! – всё на коленях, со всегдашней своей охотой отзывался Арсений.

Дивилась борода, но чинно, у него были повадки грамотного:

– А – волости? а – села?

– Из Каменки я! – радовался Арсений.

– Из Каменки?? Да чей же ты?

– Благодарёв.

– Какой Благодарёв? Не Елисея Никифоровича?

– Его!! Меньшой! – скалился Арсений.

– Так-таак, – одобрял старший земляк и достойно, не по-солдатски, обглаживал бороду. – Так я тебя знаю. А Григория Наумовича Плужникова знаешь?

– Ну как же! – чуть не обиделся Арсений. – Его и все батькой зовут, голова-а-а! А ты?

– А я – туголуковский.

– Туголуковский!! – раскидал Арсений ручища и всех звал подивоваться. – Так оттуда ж все кони добрые. И мы там покупали.

– Лунцов я, Корней.

– Да вас там пятьсот дворов, не перезнаешь.

И – все заулыбались, как породнились обе группы, и всем от того радость. Чтó там в одном полку, если деревни рядом!

– А вон ещё у нас тамбовский – Качкин! – показывал Лунцов на мрачноватого боровка лет тридцати, с широкой головой, слишком широкими плечами, короткими руками, а спина и грудь – подлинно колесом, но не по-бабьи выпирающая грудь, а по-мужичьи, хоть в соху его запрягай. – Только он дальний, иноковский.

– Хо-о-о, – отмахнулся Арсений, – и-иноковский! Эт с Вороны, что ль?

– Ну. Слышь, Аверьян, вот с волости соседней парень.

Качкин исподлобья, но одобрил:

– Хорош землячок, подкормил. – Сощурил глазки, и без того маленькие, а хваткие: – А нож – кинь!

– Зачем тебе?

– Немца колоть.

– Так и мне!

– Так у тебя не один.

Не один был у Арсения, да, он с запасом взял. Но и – чужим солдатам отдавать? Оглянулся на своего полковника.

А Воротынцев – на Качкина, на колесо его от груди к спине.

– Дай.

Не – дал Арсений, не – встал подать, не – протянул. А как стоял на коленях шагов за восемь от Качкина – размахнулся и метнул нож мимо плеча чьего-то, – и у самой Качкина ноги, обдирая сосновый вздутый корень, врезался нож в землю стоймя.

Качкин выдержал, не убрал ноги. Вытаскивая нож, сказал:

– Ничего, подходяво. За танбовского сойдёшь.

И посмотрел лезвие на свет, с жала.

– А костромских нет? – спросил Воротынцев.

Нет. Воронежский. Новгородских двое. Медленно, внимательно пересматривал их всех полковник. Один гусак насупленный в счёт не шёл. Один ласковый услужливый так и просился – встать, доложить, ответить.

– А ты откуда?

Подскочил, засиял:

– Архангельский, ваше высокоблагородие, Пинежского уезда. Монастырь Артемия Праведного у нас, может, слышали?

– Сиди, сиди. – Дальше смотрел. И увидел крупноокого запасника с той бородой, какую бороной расчёсывают. – А ты?

Не вставая, как беседуя, ответил с важностью:

– Олонецкий.

Он и ел непроворно, глаза переводил неторопливо.

Воротынцев выглядел озабоченно.

– Поели? А вода дальше будет, озерко малое. А ноги как у вас? – Отвечали, но он не об этом думал. Объявил, но как-то некатегорично: – Если хотите, можете с нами идти.

Харитонов просиял. Да не могло же быть иначе!

– Выходить придётся н-ночью, – всё озабоченнее объяснял Воротынцев и не на поручика глядел, а пересматривал солдатские лица, больше – на олонецкого, на Лунцова, на Качкина. – Сегодня же, ночью. Придётся шоссе переходить. Это сложно будет. А после шоссе, наверно, бегом бежать.

На отдалённом пне сидел прямоголовый сообразительный Ленартович и в испуге смотрел на Воротынцева: слишком рано он составил о нём мнение как об умном человеке. Он не спятил ли? Если от шоссе бежать – как же тащить этого поручика на носилках? А уж труп зачем волочить, что за обряд дурацкий? Ну и перестреляют всех. Живым погибать для мёртвого? Неужели он так их и возьмёт?

Именно это и восхищало Ярослава, это нерасчётное упрямство и было самое трогательное: что мёртвого они несли, что полкового командира даже мёртвого не хотели оставить чужой земле! И почему полковник мялся, тоже понимал Ярослав: тут странная была группа, не армейское что-то, отношения не подчинённости, но доверия, не поручик Офросимов командовал ею, а как бы сама собой она командовала, оттого и спрашивать надо было самих солдат.

Воротынцев оглядывал их. Солдаты молчали.

Ну, правильно, понял Ленартович, тут сложность в том, что поручик Офросимов всю дорогу не мог велеть полковника бросить, а себя нести: если подрубить это наивное убеждение, его и самого могли бы оставить. Но Воротынцев-то волен приказать похоронить, да и поручика нести ещё подумать надо.

На пнях, на земле, на скатках – вразброс сидели дорогобужцы, и было бы это как собравшийся деревенский мир – если б не две пирамидки винтовок. А Воротынцев – деятельный, уверенный, непреклонный полковник – стоял обмявшись, на расставленных ногах, руки плетьюми, из-под козырька поглядывал. Поглядывал на дорогобужцев. И молчал.

И солдаты молчали, не все смотря на полковника – кто и в землю, кто на носилки одаль.

Когда полковник, ещё раз обглядывая всех, остановился на Корнее Лунцове, тот провёл по серой веничной бороде, всю её никак одной рукой не захватывая, и спросил со значением:

– А – сколько ещё до России вёрст, ваше высокоблагородие?

Далась им Россия, чучелы, будто немцы туда прийти не могут! Пулемётов они не понимали, только вёрсты. Если полковник уступит, надо Саше эту группу бросать.

А Качкин короткоухий какую-то кривулину корневую с руки на руку перебрасывал. Так – и так. Так – и этак.

Ещё проверил Воротынцев стоялый, озёрный взгляд олонцкого – и вот уже выпрямился из колебаний, вскинулся и, чётко:

– Хорошо, выступаем! Прапорщик! – сощурился на гордую голову Ленартовича. – Мы с вами сменим двоих под покойным.

Как пришилил. Вздорная игра, а состояние безвыходное, ничего и не возразишь. Саша повёл головой, как бы не веря. Плечами пожал. Поднялся медленно. Ступнул не сразу, к носилкам. Погребальное шествие, идиоты.

– Я тоже, господин полковник! – безпокойно вытянулся Харитонов, но Воротынцев рукой отклонил.

Вместе с Ленартовичем они взялись за передние жерди – и подняли, лучше и хуже угадывая хватку задних. По росту ровни, пошли, попадая в общий лад, чтоб раскачки не было. Вчетвером не очень было тяжело, но неудобно, спотычливо.

Хотя и неприязненно, с видимым подозрением, принял вчера полковник Ленартовича, но Саша за вечер и за ночь оценил как удачу, что встретился с ними. *Этот*, пожалуй, выведет. Такие изнурительные часы настали, все силы отбирая движеньем и опасностью, что отдаться умелой воле успокаивало и отупляло: не искать, не беспокоиться, а делать и шагать, как скажут. К тому же с первых минут Саше нетрудно было заметить, что этот яснолобый полковник – какой-то редкий среди офицеров тип: по-настоящему, кажется, интеллигентный, образованный человек. А с другой стороны, если он истинно-образованный, да ещё имеет власть, – как же мог он поддаться тёмному, некому завету этих диких запасных из нечёсанных углов России? Ну, пусть как серьёзное что-то выносили знамя – тряпку казённую, никому не нужную, всеми уже осмеянную, но она хоть не весила ничего, да вот что: она была хороший предлог для Офросимова, чтоб его самого тащили. Но:

– Господин полковник! Зачем же всё-таки мёртвого нести? Ведь это дикость.

Они шли впереди, и слышать их только и могла бы третья голова за самыми их плечами, затылком вниз, покачивая на ходу.

Воротынцев не возразил.

– Какая ж это современная война? – смелел Саша.

Живые, умные у него были глаза, перед которыми не отделаться тупой армейской отговоркой. Но имел Воротынцев тон, чтоб и такие глаза моргнули:

– Современная война встретит нас на шоссе, прапорщик. Вы бы прежде подумали – чем будете стрелять? Этой пукалкой не настреляешь.

Может быть и верно, но всё это увёртка. А вот на главное возвращал его Саша:

– Сейчас вы заставляете нести труп, потом прикажете нести этого поручика, наверняка черносотенца, по лицу вижу.

Саша рассчитывал – полковник рассердится. Нет. Так же отрывисто, и даже думая будто о другом:

– И прикажу. Партийные разногласия, прапорщик, это рябь на воде.

– Пар-тийные – рябь?? – поразился, споткнулся Саша, извернулся под жердью. Два-три пути возражений сразу открылись перед ним, но наступательный был наилучший: – А тогда что ж национальные? Не рябь? А мы из-за них воюем? А какие ж разногласия существенны тогда?

– Между порядочностью и непорядочностью, прапорщик, – ещё отрывистой отдал Воротынцев. И внешней свободной рукой приподнял, расстегнул планшетку, на ходу смотрел то под ноги, то в карту.

Да не из принципа только, не из принципа даже, а: совсем не просто, очень трудно было нести носилки, как будто двойной человек на них лежал, резала жердь плечо, всего тебя клонила пригнуться, и уже задний солдат окликнул:

– Повыше, ваше благородие!

Саша всю жизнь развивал мозг, то было важнее, а тело – некогда. За эти последние дни он ещё истощился. Зубы сжимая, он нёс и загадывал, до какого дерева донесёт, а там попросит его сменить. Потом добавлял ещё прогон.

Между тем слева приоткрылась поляна – и солнце уже почти открыто ударило в них поверх дальних вершин. Опять вступили в просеку, темноватую от частых сосен. Просека стала подниматься, подниматься, ещё труднее нести, сердце выколачивалось, – а полковник направил и с просеки свернуть и ещё круче подниматься, прямо лесом идти, между соснами, – правда, они реже стояли здесь, расчищено было от хвороста, от подроста, и повсюду свободно идти по мягкому коврику игл, только от шишек неровному. Не на подъёме ж было отказываться, терпел Саша дальше. А когда поднялись, то и сам полковник чуть раньше скомандовал:

– Стой! Опускаем.

Они оказались в глубине леса на открытой гряде, в утреннем солнечном боковом просвете. Сосны стояли здесь редко, на бронзовых, иногда дуговатых стволах, на возвышенных раскинутых ветвях держа свои сквозистые крупнохвойные шапки. Раннее солнце уже теплило стволы – и до позднего вечера весь обход не должно было уходить отсюда. Должны были белки любить это место, в весну – тянуться сюда зверьки на первые обсохи: здесь быстрее всего сходит снег, и никогда не стоит вода. А назад, откуда пришли они, гряда спадала просторным длинным склоном в просторную же впадину, и туда по чистым иглам между чистыми соснами хоть боком прокатывайся.

А ещё выступал из гряды отдельный холмик. К нему-то и поднесли носилки.

Ничего не объясняя, Воротынцев постоял, осмотрелся и дал другим осмотреться. И тогда уже не в колебании и не тоном упрощивания, но уверенно объявил дорогобужцам:

– Ребята! Полковника Кабанова мы похороним здесь. Лучшего места не будет. И по карте будем знать. А немцы – не нехристи.

И – пересмотрел, пересмотрел дорогобужцев. Добавил тихо:

– Иначе нельзя. Не выйдем.

Что не выговаривалось и не принималось на серой рассветной вырубке в низине и при первой встрече – то здесь, на радостной высоте, в ласковом утреннем солнце, в первом разогревном, смольном запахе, и от того, кто сам эти носилки понёс, – принялось, уложилось. Та сумрачная тень на лицах – вины, не вины, отчего бы вины? оттого ли, что столько умерло, да не они? – ту тень прорвал им чужой полковник. И вот – не было сопротивления на лицах.

Олонецкий снял фуражку, повернулся к востоку; про себя молясь, перекрестился истово; поклонился поясно; отпустил:

– Бог простит.

И другие иные перекрестились.

Воротынцев, ни мига не медля, окликнул:

– Арсений, где твоя лопатка? Начинай. Вот тут. – Показал на холмик.

Всем снабжённый, ко всему приспособленный, на всё всегда готовый, Благодарёв безунывно отстегнул сапёрную лопатку, как если б к этой работе только и шёл сюда, взошёл на холм – там был простор и всем собраться, стал на колени, хоть сколько-то ноги укорачивая, и врезался, где не было корней.

И у дорогобужцев оказалось две лопатки. Давно самый готовый к делу из них, подкатился быстро Качкин тяжёлым комом и, начиная тоже с колен, стал бить и выбрасывать, бить и выбрасывать землю – с дикой силой, без всякого передыха.

– Здрово, Качкин, берёшь! – отметил Воротынцев.

Качкин задержался, оскалился с колен:

– Качкин, вашвысбродь, по всякому может. И – так могу.

И вот увальнем, из силы последней, с недочёткой дыхания, больной толстяк, еле-еле ковырялся, еле-еле вынимал на кончике лопаты.

– И ничего не докажете! – кольнул кабаньими глазками. И тут же опять – пошёл, пошёл долбать, только земля замелькала, как будто сама та сказочная лопата ходила, что за ночь воздвигает дворцы.

И так – и так мог Качкин. И так – и этак.

А Лунцов с напарником пошли нарубить и сплести крышку для носилок, чтобы сделать их гробом.

Такой был цельный обширный лес, что война, бушуя вокруг, сюда, в эту глубь, за всю неделю не заглянула ничем: ни окопчиком, ни воронкой, ни колёсным следом, ни брошенной гильзой. Разгоралось мирное утро, сильнел смоляной разогрев, приглушённо перещебетывались, молча перелетали августовские успокоенные птицы. Обнимало и людей безопасное, вольное чувство: будто и окружения никакого нет, вот похоронят – и по домам разойдутся.

Могила готова была. И крышка к носилкам готова.

Но как-то надо ж было отпеть? какой-то кусочек панихиды? Слыхивал Воротынцев панихиды не раз – а повторить или другим указать ничего не мог, дело это было офицеру стороннее, священское, не запоминалось.

Его нерешительный взгляд перенял Арсений – он рядом стоял и потягивался, спину разминал. Перенял – и сообразил ведь! – никаким образовательным развитием не созданная, такая уж была быстрая смётка у парня. А ещё за эти трое безмерно наполненных суток установилась между ними безсловесная, неоговоренная взаимная область разрешения и прав, вообще невозможная между полковником и нижним чином, да ещё при разнице в годах. И вот, ни слова приказания не получив, ни слова предложенья не высказав, Арсений, уже принимавший столько разных взглядов, для каждого дела свой, ещё принял новый: выпрямился, приосанился, переимные от кого-то важность и строгость появились в лице и в голосе.

Фуражку снял, швырнул за себя, не глядя. Спросил у всех, ни у кого, брови нахмуря, как имеющий власть, голосом не будничным, возвышенным:

– Как покойника звали-то?

А солдаты – и не знали, солдатам – «ваше высокоблагородие» сунуто. И никто б не знал, если б не Офросимов. От земли, со своих носилок, ответил взнесенному нижнему чину:

– Владимир Васильевич.

И тут же шагнул Благодарёв к покойнику, наклонился, снял платок с лица – за пять минут до того не дерзнул бы. С выпяченной грудью, с головой прямой обернулся к восходу, к солнцу – и чистым сильным голосом и точною дьяконской манерой воспел до высоких сосенных вершин:

– Миром Господу по-мо-лим-ся!

Так это было властно, сильно и точно по-церковному, что приглашенья не требовалось больше, – и олонецкий, и Лунцов, и ещё человека два сразу поняли и тут же отозвались, закрепились, поклонились востоку каждый на том месте, где стоял:

– Господи поми-илуй!

И первым же, всех зычнее, пел среди них Арсений, из дьякона тут же перейдя в первый голос церковного хора. А отпев – перешёл снова в зычного, сочного дьякона, с удивительной мерою ритма, интонации, речитатива, – не умея повторить, Воротынцев узнавал с несомненностью:

– О новопреставленном рабе Божьем Владимире – покоя! тишины! блаженные памяти его – Господу по-мо-лим-ся!

И уже всех захватывая, и офицеров, уже все собираясь к покойному, с головами обнажёнными и лицами к востоку:

– Господи поми-илу-уй!

Сколько ж сторон и объёма во всяком человеке, вот в молодом крестьянине из глухого тамбовского угла: три дня с ним вместе идёшь через смерть, потом бы потерял навсегда, так бы не узнал, не догадался, не задумался, если бы не случай: он в церковном хоре поёт, и не один же год, наверно, и к службе прислушан, и это нечто важное в его жизни, любит, знает – эх ведь выговаривает до точности в каждом звуке и в каждой паузе, с полным смыслом, все интонации верные:

– О неосужденну предстати у страшного престола Господа славы – Господу помолимся-а-а!

Поднесли и Офросимова, поставив лицом к востоку. Он сидя крестился и тоже пел. И Харитонов, теперь увидевший загадочное лицо героя, пел, ощущая слезы, но слезы освобождающие:

– Господи поми-и-лу-уй!

И дальше властно вёл дьяконский голос, не стесняясь чужбинным лесом:

– О яко да Господь Бог наш учинит душу его в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, идеже вси праведнии пребывают, Господу по-мо-лим-ся!

Отчасти уже сбывалась молитва: для тела уже вот и было учинено такое светлое, покойное место.

Все на восток, только и видели в спины друг друга – и невидим был лишь последний, самый задний, не подпевший ни разу, с кривоватой улыбкой сожаления, но всё же голову обнаживший Ленартович. Зато перед всеми стояла, в поясных поклонах нагибалась и распрямлялась гибкая сильная спина Благодарёва, лишь потому не широкая, что ещё длинная. И привольны, отсердечны были крестные взмахи его сильной длинной руки, готовой и к работе, и к ночному бою за жизнь:

– Милости Божия! Царства Небесного! и оставления грехов испросивши тому и сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу пре-да-дим!

И – выше солнца, выше неба, прямо к престолу Всевышнего четырнадцать грудей мужских напевом проверенным, голосом слитным, восслали уже не просьбу свою, но жертву, но отречение:

– Те-бе-е, Гос-по-ди-и-и!..

51

Слабеющие прорывы перемешанных русских частей. – Три штыковые раны полковника Первушина.

Потеряв командование, перепутавшись родами войск и частями, – в глубине леса русские двигались ещё спокойно. Но всякий выход на просвет, на большую поляну, на перелесье, к деревне – был встречаем стрельбой.

На рассвете 17-го августа голова беспорядочной колонны вчерашнего 13-го корпуса была встречена на опушке, за пятьсот шагов до деревни Кальтенборн, орудийным и пулемётным огнём. Утверждённого сводного командования не было, но оказался в авангарде полковник Первушин, и с добровольными случайными помощниками от разных частей развернул на выходе из лесу – две дотянутых трёхдюймовых пушки. Они открыли огонь – а сам Первушин впечатляюще пошёл со сводною ротой и развёрнутым знаменем Невского полка в атаку на деревню. И немцы бежали, оставив два орудия.

Однако вся завоёванная кальтенборнская поляна была – верста на версту, и снова предстояло углубляться в лес. А через две версты – опять выходить на просвет, к деревне, опять под обстрел. Михаил Григорьевич Первушин, со службой и годами несколько не утративший солдатского естества, стал душой и следующего прорыва. Он так всегда был слитен с солдатами, что не мог вести их на невозможное, а если уж вёл – не могли за ним не идти. В первушинском авангарде была перемесь невцев, нарвцев, копорцев, звенигородцев.

На той следующей поляне вновь расставили свои немногие снаряженные пулемёты и открыли внезапный беглый огонь – и так же бросились в атаку. Опять Первушин бежал впереди и получил штыковую рану. Неожиданный прорыв русских и тут оказался так крепок, что немецкий заслон кинулся в бегство.

В этом ратном труде, как выражались наши предки, у первушинского авангарда прошёл весь день. Дорога на выход ещё была длинна, и длинны лесные вёрсты; немецкие заслоны один за другим, завалы, колючая проволока; пулемёты по просекам и пушки на проходах поджидали свои столпленные нестройные жертвы. Едва высывались русские на прогляд, на прострел – немцы окатывали их всеми видами огня. С каждой удачей становилось русским всё трудней и трудней: меньше телесных сил, больше голод и жажда (колодцы завалены), меньше снарядов и патронов, больше раненых, сильнее заслоны, а надежда вся – только на штыковую атаку.

Было уже за полдень далеко. Многолюдная с утра, колонна обтаивала. Безумеющие люди теряли разум действий и надежду.

Перед последним рывком полковник Первушин, уже раненный дважды, и всё штыком, – кровь у него на лице, на шее, на кителе, и фуражка пробита – приказал знаменщику снимать с древка полковое георгиевское знамя и закопать его – вот тут. (Указал ещё не повреждённой рукой.)

А сам сидел на пне, склоня голову.

52

Положение 13-го корпуса. – Генерал Ключев намерен сдаваться. – Самовольные группы прорыва – есаул Ведерников, подполковник Сухачевский.

Сам генерал Ключев не был ни в голове корпуса, где Первушин, ни в арьергарде, где Софийский полк отбивался в стошаговом лесном бою, – он держался середины колонны, и путал, и метался, мотал её, от каждого заслона отворачивая. Кольцо окружения казалось ему неразрываемым, и некому было собрать полкорпуса на прорыв.

Остатки нашей артиллерии действовали сами собой: меняли позиции, стреляли прямой наводкой, где видели противника, при бегстве оттягивали орудия или покидали их. А тут ещё широкая болотистая речная полоса со многими канавами перегораживала русским путь там, где расступался грюнфлиссский лес, и в этой болотистой низине тонула артиллерия, тонули обозы. И хотя по прямой уже видно было шоссе, и дойти до него было три версты, – уклонялись части опять на восток в сторону недостижимого Вилленберга, искали переход по сухому. Поток отступающих таял, каждый час исчезали куда-то не сотни, но тысячи. Беспорядочная толпа

вокруг Ключева выкатилась на поляну близ Саддека, попала под перекрестный шрапнельный огонь, шарахнулась назад в лесок.

И тут – исполнилась чаша терпения единокомандующего окружёнными центральными корпусами. *Во избежание напрасного кровопролития* велел генерал Ключев поднять белые флаги – при двадцати батареях, проташенных, прокруженных через всю Пруссию! – и против восьми батарей противника. С рассыпанными десятками тысяч по лесам – против шести батальонов в этом месте.

Золотые слова: «во избежание кровопролития». Каждый человеческий поступок всегда можно огородить золотым объяснением. «Во избежание кровопролития» – благородно, гуманно, что на это возразишь? Разве то, что надо быть предусмотрительным и во избежание кровопролития не становиться генералом.

Но – не оказалось белых флагов! Ведь их не возят по штату вместе с полковыми знамёнами.

Это было на поляне, близ выхода из лесу.

Экран

= Всё, что колёсное есть – обозное, артиллерийское, санитарное, забило поляну без рядов, без направления.

На двуколках, фургонах – раненые, сёстры и врачи.

Что попало на телегах – оружие, амуниция, вещи, может и захваченные у немцев...

Пехота стоит, сидит, переобувается, подправляется...

Верховые казаки стеснёнными группами...

Разрозненная артиллерия...

= Обречённая военная толпа.

= А вот и генеральская группа, верхами.

И казачья конвойная сотня при ней.

= Генерал Ключев. Напряжение держаться с внешней важностью. Смотреть с важностью, бровями двигать (а иначе ведь и слушаться перестанут):
– *Вахмистр! снимите нательную рубаху. Взденьте на пику! Выезжайте медленно к противнику.*

= Вахмистр – как приказано. Пике передал соседу, снимает рубаху верхнюю, снимает рубаху нательную...

= и вот уж одет, а рубаха – белым флагом на пике. Ехать?

Но что-то гул.

= Это – казаки между собой гудят.

= Вахмистр смотрит на них, замер.

И Ключев на них оборачивается.

Тише гул.

Ключев машет,

и вахмистр с белым флагом отъезжает.

Громче гул.

= От другой казачьей группы, подальше:

– *А мы – сдюжаем!*

– *Казаки не сдаются!!! где это видано?*

Да не Артюха ли Серьга, плут забиячный, кругловатый, фуражка кой-как, из-за чужой спины кричит дерзко, разносисто:

– *Вилять – не велят!*

= Клюев – черезсильным окриком (а уверенности – никакой):

– *Кто там командует?*

= И выезжает вперёд с капитанским беззвёздным погоном изгибистый, стройный, вьющийся в седле офицер. Лицо литое, черноглазый, – никакого почтения! – ах, сидит! ах, избочился, пальцы на сабельной рукояти:

– *Сорокового Донского е-са-ул Ведерников!*

Посмотрел на генерала – добавлять ли?

И ничего не добавил.

Новый гул, новые восклицания.

= Клюев оглядывается, оглядывается...

на пехоту, на столпленье людское.

Кто как, кто слаб, кому хоть и сдаться,

а этот солдат кричит, за затылок взявшись, фуражка сбилась, где вся дисциплина? Где форма? —

– *Чего это? в плен? а мы – не изъявляем!*

Поддерживающий гул

соседних с ним солдат.

И их подполковник идёт, прорезая толпу, обходя телеги,

к верховому генералу,

оборот:

= сюда, к нему, снизу вверх, как покуситель на царя, вот выхватит пистолет и застрелит. Руку вздёргнул —

нет, честь отдаёт:

– *Подполковник Сухачевский, Алексопольского полка! Вы приняли командование и 15-м корпусом тоже! Вы обязаны выводить нас... генерал!*

Снизу вверх – простреливающе, с презрением.

= Уже и – не превосходительство... И нет твёрдости возражать. Клюева мутит. Глаза закрыл, открыл —

стоит Сухачевский, не уходит.

Да разве генерал не понимает! Да разве ему самому легко? Но – во избежание кровопролития?..

Ну, да он ни на чём не настаивает. Со слабостью:

– *Пожалуйста... кто хочет – пусть спасается. Как умеет.*

Вынул платок, лоб отереть. А отерши, смотрит:

= платок! он – белый! он – большой, генеральский платок!

= И, взяв его за уголок, подальше от неприятностей с этими подчинёнными, перед собой спасительно помахивая,

шагом конным поехал к опушке, сдаваться,

вослед вахмистру с рубахой.

= И – весь штаб за ним, кавалькадой.

И – потянулись, кому скорей бы конец...

скорей бы конец...

скорей бы...

= А близ лазаретного скопления

врач с лошади командует:

– *Внимание! Командир корпуса объявил о сдаче. Все, кто рядом с моим лазаретом, – бросай оружие! Бросай!*

= Недоуменный маленький солдатик, винтовку няньча:

– *И куды ж её бросать?*

– *Под деревья кидай, вон туда!*

А из фургона, из-под болока, выбирается в одном белье раненый, перебинтованный:

– *Да ни в жисть! Дай винтовочку, землячок!*

Забирает у недоуменного. И —

запыхал в одном белье, с винтовкой.

= А другие сносят, бросают...

бросают...

под крайние деревья, наземь.

= Лица солдатские...

и раненых...

Но – голос боевой, звончатый:

– *Эй, казаки!*

= Это – есаул Ведерников, выворачивая коня к своим:

– *Нам тут не место!*

= Ну, и донцы его стоят! Нет, не сдадутся!

Гул одобрительный, воинственный.

И Артюха Серьга зубы скалит. Что-то в нём симпатичное, когда мы теперь его увидим?

= И командует Ведерников:

– *Все – на коней!.. справа по три... малым намётом... марш!*

Махнул – и поехал. И за ним

на ходу – по три, по три, по три разбираясь, поехали казаки.

= И подполковник Сухачевский, он низенький, ему через головы не так сподручно:

– *Алексо-опольцы!.. Сдаёмся? Или выходим?*

= Кричат алексопольцы:

– *Выхо-одим! Выхо-одим!*

Может и не все кричат, а сильно отдаёт.

Сухачевский:

– *Никого не неволю. А кто идёт —*

выставил руку:

– *...становись по четыре!*

Пробиваются солдаты, разбираются по четыре.

Кто бы и остался, кто на ногах еле —

да ведь со товарищами!

= Ещё к нему валят:

– *А кременчужцам можно, вашескродие?*

Грозно-счастлив Сухачевский:

– *Давай, ребята! Давай, кременчужцы!*

Генерал Ключев сдал в плен до 30 тысяч человек, большинство не раненых, хотя много нестроевых.

Подполковник Сухачевский вывел две с половиной тысячи.

Отряд есаула Ведерникова вышел в конном бою, захватив два немецких орудия.

***Теория Льва Толстого, проверенная на генерале
Благовещенском. – Перестраиванье 6-го корпуса в стороне
от боёв. – Приказ Нечволодову идти на Вилленберг.***

Генерал Благовещенский читал у Льва Толстого о Кутузове и сам в 60 лет при седине, полноте, малоподвижности чувствовал себя именно Кутузовым, только с обоими зрячими глазами. Как Кутузов, он был и осмотрителен, и осторожен, и хитёр. И, как толстовский Кутузов, он понимал, что никогда не надо производить никаких собственных решительных, резких распоряжений; что *из сражения, начатого против его воли, ничего не выйдет, кроме путаницы; что военное дело всё равно идёт независимо, так, как должно идти, не совпадая с тем, что придумывают люди; что есть неизбежный ход событий и лучший полководец тот, кто отрекается от участия в этих событиях.* И вся долгая военная служба убедила генерала в правильности этих толстовских воззрений, хуже нет высказывать с собственными решениями, такие люди всегда ж и страдают.

Третьи сутки корпус благополучно отстаивался в тихом пустом углу у самой русской границы. У командира корпуса, отделясь от штаба, был маленький деревенский домик, успокаивающий своей теснотой. Лишь иногда смутно слышался дальний слитный артиллерийский гулок, и можно было надеяться, что все важные события в Пруссии пройдут без корпуса Благовещенского.

А отдыхающий корпус не знал, что всё его благоденствие создаётся умелыми, ловкими донесениями корпусного командира. Упустил и Лев Толстой, что при отказе от распоряжений тем пуще должен уметь военачальник писать правильные *донесения*; что без таких продуманных решительных донесений, умеющих показать тихое стоянье как напряжённый бой, нельзя спасти потрёпанные войска; что без таких донесений полководцу нельзя, как толстовскому же Кутузову, *направлять свои силы не на то, чтобы убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать и жалеть их.*

Так и в донесении за 16 августа благообразно представил Благовещенский, как дивизия Рихтера, наконец пополненная своим задержанным полком, выдвигается назавтра для овладения городом Ортельсбургом (за два дня до того покинутым в панике и никому), где находятся крупные силы противника не меньше дивизии (две роты и два эскадрона), а дивизия Комарова держится слева *на уступе* (важное, модное выражение русской стратегии, без которого несолидно выглядит военный документ). Также и все передвижения кавалерийской дивизии Толпыги очень украсили это донесение, и вполне мог рассчитывать Благовещенский без волнений пережить ещё и 17 августа.

Утром 17-го по всем правилам оперативного искусства разворачивалась против полупустого Ортельсбурга ни одного боя ещё не перенесшая дивизия Рихтера и уже подступалась для атаки, открыла артподготовку и обязательно город бы этот взяла, – как вдруг в 11 часов грянуло с пятичасовым опозданием утреннее распоряжение штаба фронта: корпусу Благовещенского идти выручать погибающие корпуса, для чего не к Ортельсбургу двигаться, почти на север, а к Вилленбергу, почти на запад. «Главкомандующий требует энергичного выполнения поставленной задачи и скорейшего открытия связи с генералом Самсоновым».

Вот этого Благовещенский и опасался! Край смерча прихватывал их при конце – но и при конце не поздно погибнуть.

Однако сама оперативная задача допускала свободу истолкования. По расположению сходно было, как если бы войска подходили к Москве от Рязани, а им велено идти на Калугу. И

ничего не придумать стройней и удобней, как снова отойти к Рязани, а потом идти на Калугу. И победоносной рихтеровской дивизии, уже входившей в Ортельсбург, дал Благовещенский распоряжение покинуть взятый город и не идти налево на Вилленберг, но отступить направо назад 15 вёрст, а затем уже, с разгону, идти на Вилленберг.

Но ещё прежде этих манёвров Благовещенский послал энергичное донесение в штаб фронта:

«Для отыскания генерала Самсонова послан *разъезд* в Найденбург, для связи с 23-м корпусом послан *разъезд* в Хоржеле. Сведений пока нет. Веду бой у Ортельсбурга, рассчитываю отойти на линию... со штабом в... – (тут и штабу ведь придётся отойти), – *чтобы* действовать в направлении на Вилленберг».

Естественно было использовать для наступления и конную дивизию Толпыги – хотя бы двинуть её туда, откуда она поутру самовольно вернулась. Но генерал Толпыго в таком же умелом пространном рапорте обстоятельно объяснил, что его уставшая дивизия только что расседлала коней и не может двигаться на повторение трудной задачи. Благовещенский отдал вторичный письменный приказ, Толпыго вторично письменно отказался. Только на третий раз и уже с угрозами приказ был принят, и стали седлать.

Теперь, когда вся сложная часть манёвра была обезпечена, пристойно было кого-нибудь послать и прямо на Вилленберг. Для этого хорошо подходил сводный отряд под командованием Нечволодова. С той самой порочной манерой вылезать, которую осуждал Благовещенский, Нечволодов вчера, во время мирной днёвки, уже добивался такого рейда, но указано было ему ждать распоряжений. Таких-то людей в своём подчинении Благовещенский больше всего не терпел, старался наказывать их, утяжелять им службу. А Нечволодов был сверх того ещё и *писатель*, уж вовсе лез не в своё дело судить за пределами службы. Так наилучше подходил он для опасного авангарда.

После полудня 17 августа он был отпущен с Ладожским полком и двумя батареями. Приказано было ему поспешить, а главные силы дивизии тронутся позже.

54

***Сокрушённая история генерала Нечволодова. – На выручку своих. –
План атаки Вилленберга. – Дырявится немецкое кольцо! –
Сосредоточение к операции. – Нечволодовский отряд – отозван...***

Не быстрота была первым свойством генерала Нечволодова, но твёрдость. А замечал он в жизни не раз, что с твёрдостью бываем мы у цели не позже, чем при быстроте да шаткой, переклончивой на несколько дорог.

Цель же его была – не отдельная, не своя собственная. К пятидесяти годам холост, одного усыновлённого сына без натуги выводя в жизнь, он имел и досуг, и личную свободу служить цели внешней, надличной, – и никакая собственность, недвижимость не мешала ему. Такая цель у него была, от детского порыва в военную гимназию, от первой юнкерской присяги в год низкого убийства царя-освободителя, – служить русскому трону и России. И за сорок лет эта цель в его глазах не ослабла, не раздвоилась, не пошатнулась, только изменился ритм, в котором он ей служил. По молодости он спешил двумя руками сворачивать горы в одиночку, обгонял проторенный общий порядок офицерского учения, а едва кончив академию, предлагал реформу генерального штаба и военного министерства. Но тогда ж и на том его необыкновенные служебные успехи были пресечены. Впервые тогда он столкнулся с единым к себе недоброжелательством старших офицеров, генералов и гвардии. Ото всех от них Нечволодов ожидал естественных жертв для укрепления русской армии и, стало быть, – русской монархии. Но ока-

залось, что даже среди них слова о монархии принято звучно произносить, а быть ей истинно преданным – неприлично. Чем выше, тем сплошней они оказались не патриотическим пламенем охвачены, а жаром корысти, и служили царю не как Помазаннику, а потому, что он *раздавал*. И прежде чем Нечволодов это понял, уже поняли его: как человека, чуждого их среде, опасного тем именно, что не ищет себе пользы, и потому его действия могут быть разрушительны для сослуживцев. С тех пор включён был Нечволодов в проползание старшинств, замедленное неблагоприятными аттестациями, и в исполнение приказов без своевольных поправок. И не мог он служить трону быстротою, а только твёрдостью и при случае храбростью.

В поиске, куда же приложить избывающий внутренний напор, Нечволодов и занялся своим безудачным курсом русской истории для простого народа. Русскую историю он ощущал не иным от службы чем-то, но – общей традицией, в которой только и могла иметь смысл его сегодняшняя офицерская служба. Для себя искал он – оживить и освежиться в других временах, когда иначе относились русские к своим монархам, для читателей – обратить их в то прежнее состояние и так ещё охватней и прочней добиться своей неизменной цели. Но хотя история сия была высочайше замечена и рекомендована для военных и народных библиотек – повсеместного заглотного чтения своей книги и перемены в умах автор не замечал. Монархическая преданность Нечволодова, своей чрезвычайностью напугавшая генералов, теперь попала под издёвки людей образованного круга, принявших, что русская история может вызывать только смех и отвращение, да и есть ли она вообще, *была ли?* И уж как вовсе дикое встретили убеждение Нечволодова, что монархия есть не путы, а скрепа России, что она не сковывает Россию, а удерживает её от бездны. Из-за преданности династии он и безсилен был спорить со своими критиками: что бы в стране ни делалось, он, никогда не смея осудить ни Государя, ни его близких, только смел защищать их и объяснять, почему хорошо то, что общество находило дурным.

И через молчанье и через терпенье он снова мог остаться лишь на твёрдости. Да вот иметь пристрастие к своему Ладожскому полку за то, что тот был опорой трона при московском бунте 1905 года. Хотя сам Нечволодов никогда в Ладожском не служил и весь состав полка с тех пор переменялся, но нескольких старослужащих он знал и отличал.

Молчать и терпеть оставалось Нечволодову и последние два тихих дня 6-го корпуса. Стойкостью своих арьергардных боёв он никого не заразил, и сейчас оставалось страдать от бездействия, когда в 25 верстах тёл главнейший бой и, по всему, тёл нехорошо. Генерал-майор выезжал на коне версты за две-три на холм, слушал гул и безцельно смотрел в бинокль.

А после потери двух суток велели Нечволодову поспешить. Но уж тут как раз он не спешил, а просто тронулись, все распоряжения были вторые сутки готовы. Упущенное в штабах не нагонять теперь было солдатским шагом, да сколько ещё главные силы проташатся! Только всю свою конницу – корнета Жуковского с полувзводом, он отправил вперёд.

Два дня, пока его не пускали, Нечволодов был болен, вял, тускл. Но едва получив приказ выступать – выздоравливал по минутам. Он улыбнулся своим ладожцам – во всём корпусе одним, кто допущен воевать, ободрительное крикнул батареям, что идём своих выручать.

От сознания «идём своих выручать» один полк обратился в два, а две батареи – в четыре. Только снарядов не прибавилось. Зато сбавились все раскисляи сверху, освободились руки, чистела голова.

Опять на своём рослом жеребце со спущенными стремянами долговязый молчаливый Нечволодов ехал впереди сборного отряда, теперь авангарда, – и на конский корпус позади него и сбоку ехал круглолицый, на галушках выращенный и как медный чайник наблещенный, радостный адъютант Рошко.

Ближе к Вилленбергу вступила их дорога в кондовый сосновый бор. Прочищенные восьмисаженные сосны с лоснёными медными стволами чуть веяли вершинами по небу погожему, ещё летнему. В лесу вечерело прежде времени.

На втором десятке вёрст всё слышней становилась ружейная и пулемётная стрельба, оружейная редко. Что могло это быть? Это прорывались наши и били по ним. Вилленберг был очевидной крайней, угловой, точкой окружения – и сразу же за ним могли быть, должны быть наши. Жеребец под Нечволодовым давал ходу, слишком быструю для пехоты.

Лес укрывал движение нечволодовского отряда почти до самого Вилленберга. Да немцев и не было, они так уверены были, так распустились, что не выставили никого навстречу. При конце леса Нечволодов распорядился отряду свернуть и садиться, а сам выехал между последними деревьями. Тут стояли коноводы разведки, корнет с разведчиками ушли за реку. От Вилленберга сюда, ослепляя, жёлто затопляя, светило закатное солнце. Всё же можно было развидеть перед собой луговую низинку к небольшой реке и по ней одну только возвышенную дорогу – прямо, открыто на мост! – целый мост! – своё-то, немецкое, добро жалко взрывать. И – никакой заставы по эту сторону моста! – или уж совсем нас за дураков почитают? Напротив, по ту сторону моста, в первых редких домах города уже засели и стреляли корнет с разведчиками. Скорей послал к ним туда Нечволодов через мост команду с двумя пулемётами.

Дальше там – дома гуще, железнодорожная станция и сразу город. Обходить город справа нельзя: болотистый луг. Обходить город слева нельзя: обрезают другая речка, впадающая. Но через час весь полк, не опасаясь обстрела, может открыто, в походной колонне, переходить мост, а там разворачиваться для атаки города.

Обеим батареям велел Нечволодов занять позиции на лесном краю, справа и слева от дороги.

На ближней окраине Вилленберга стреляли. По ту сторону города тоже стреляли. Нет, шатко немцам в этом городке. И они хуже, чем в клещах: вот рассыпали свою облаву лицом на запад, не подозревая, что загонщики идут с востока.

От радости ожидаемой, ухватываемой, короткой, простой победы заколотилось сердце в груди генерала и зажётся его тёмный спокойный лик. Он вызвал командиров батальонов и батарей, рассудили, как пройдут мост и кто что делает после прохода.

А тут с донесеньем от корнета Жуковского – пеший драгун, бегом. Сообщал корнет, что сюда, на эту окраину города к нему прорвались: двое своих отбившихся из 6-го драгунского, четверо солдат из Полтавского пехотного да один казак из конвоя Командующего армией. Уверяет конвоец, что генерал Самсонов убит в перестрелке.

О Самсонове не домысливая до конца, это могло быть и слухом, выхватил Нечволодов главное: уже идут одиночные солдаты сквозь Вилленберг, как через решето! Руку протянуть – только и осталось! Тот самый миг пришёл – ударить тараном в дырявую бочку! И – скорей, ибо всё там перемешалось и гибнет, если с дальнего фланга армии был Полтавский полк – и *сюда* выбились его солдаты.

Послал по ротам объявить, что наши – уже пробиваются, уже здесь, вот они! Сел писать донесенье в штаб дивизии, что начинается бой за город, требует помощи от начальника главной колонны, ещё снарядов скорей и хотя бы батарею.

Солнце зашло – а темноты дожидаться долго. Видно было, как два дома горят, где бьётся корнет. Первому батальону – за мной, на мост! Второму батальону – через интервал.

Первый дружно прошёл, не обстрелянный, но был замечен, и по второму стала бить батарея из рощицы за левой рекой. Наша ответила туда. Ввязалась немецкая другая. Тем временем поротно пробежал второй батальон.

Серело. Ярче виделись пожары в городе.

Нечволодов достиг корнета Жуковского, сам видел и полтавцев и конвойного казака брехливо-нечистого вида. Разворачивал первый батальон против станции, откуда немцы стреляли упорней, и ждал остальных ладожцев. Третий и четвёртый батальоны должны были в темноте пройти легче.

Сгушалось в ночь. Артиллерия приумолкала. Багровато посвечивали пожары. Другого освещения в городе не было, редкие слабые огоньки, электричество нарушено. Слева ещё держался серпик луны, с ним и с пожарами лишь столько света было как раз, чтоб не заплутаться при атаке, видеть соседей. Но не столько, чтоб издали хорошо видели их. Всё складывалось счастливо. Через час батальоны займут позиции, изготовятся – и, в пояс пригнувшись, первые два без выстрела пойдут на город, третий в обход на лесопилку, четвёртый в резерве. Пока же, сам пригибаясь на ходу до волка, Нечволодов с Рошко и ещё несколькими офицерами исхаживал налево до реки и направо отлого приподнятый сухой, твёрдый выпас. Показывал, где вести батальоны.

По ту сторону города не переставали стрелять, хоть и реже. Три-четыре версты отделяло наших от своих, но тут ощущение – *мы, вместе*, там – порознь, закружены, погибли, и наших в мире нет.

Вот уже и свободно, в свой превосходный рост, расхаживал Нечволодов в багровой ночи и распоряжался длинными руками.

Он был уверен в успехе. Для ночного нападения на город у него хватало сил, а там подойдёт главная колонна, и утром кольцо будет разорвано. Этот разрыв поддержать день – в окружении разнесётся, и все навалят сюда.

Тревожная радость предчувственно распирала Нечволодова, он не помнил в себе такой радости за недели этой войны, за годы мира.

Оставалось пятнадцать минут до назначенной атаки.

Он вернулся к дороге.

Его как раз искали – ординарец из штаба дивизии. Всё тот же продолговатый безотказный фонарик достав из кармана шинели, Нечволодов осветил бумагу, прикрываясь от города телеграфным столбом.

«Начальнику авангарда генерал-майору Нечволодову.

Ввиду отсутствия значительных сил противника главная колонна отозвана. Боя под Вилленбергом не начинайте, поддержки не дадим, тем более, что ожидается отход всего корпуса на русскую территорию. Ждите следующего распоряжения.

Полковник Сербинович».

Рошко вскрикнул: его генерал замычал, как между рёбер проколотый, шатнулся к столбу и перебирал зубами по отсушенному телеграфному занозистому дереву.

55

Поток мыслей Воротынцева. – Старое китайское гаданье. – Дневная лёжка группы. – Разработка ночного прорыва. – Жертва Офросимова. – Мысли Ленартовича при топорике. – Проектор! – Погасили. – На выход!

На гряде, где хоронили полковника Кабанова, едва не изменились планы: со стороны замирённого Найденбурга послышалась стрельба, и ясно можно было понять, что это бьют *извне*, что это русская артиллерия бьёт по Найденбургу, а немцам отвечать нечем. И уже готов был Воротынцев поворачивать туда – однако стихла стрельба, осталась вялая ружейная.

Но и при готовом плане весь день потом всякие четверть часа требовали и требовали от Воротынцева и слуха, и глаза, взгляда на карту, на местность, на своих солдат, на ноги их, требовали решений и команд. В этой череде военных мыслей не могло, кажется, остаться промежутка никаким другим.

А – было в голове как бы два коридора рядом, через стекло: друг друга видели, звуками не мешали. По одному коридору без задержки проскакивали деловые мысли, как выбиться им, четырнадцати и раненому одному; по другому проплывали сами собой, без подгона, ничем не торопимые, независимые, и даже друг с другом не связанные: вообще о прошлом; о недожитом; о прожитом не так. Первые торопились вырвать к жизни. Вторые озирались на случай умереть.

Опять об эстляндцах. Они не покидали, требовали своего. (Это – первые сутки, а потом не острее ли ещё потянет?..) Такое недавнее, а такое уже неисправимое: кто в плену – так те уж в плену, кто выберется – те сами по себе выберутся, а кто лёг – тот уже лёг. Вспоминать – не помочь. Да ни в чём не обманул их Воротынцев. А именно с этим упреком они тянулись по второму немому коридору – от правофлангового чёрного дядьки с перекошенной щекой. Ни в чём не обманул! – но отступят ли когда упреки? Ни в чём он их не обманул – он всё открыл им честно, и двадцать часов они держали нужный, важный участок, и это бы всей армии могло помочь, если бы правильно делали другие. Но другие – порушили.

И значит, он – обманул.

Как же верно быть? Не тянуться, не изощряться, не выбиваться из сил? – тогда вообще не служить. Не жить. А что найдёшь и состроишь – обязательно тебе развалят, раздавят каким-то верховым незрячим переступом.

Когда всё разрушается – как же верно: действовать? не действовать?

Второй коридор несколько первому не мешал, ничего не отнимал, там был свой простор. И для воспоминаний. И для жалости.

Щемливо жалко было Алину, представить её вдовой, – как будет она убиваться, метаться, места не находить, горлышком тонким надрываться от слёз. Ещё сколько ей, может быть, лет понадобится, чтоб очнуться к жизни!

Вспоминал, как в Петербурге умела на его заваленном столе вытереть каждую пылинку, не сдвинув ни одного карандаша. Как, любя в гости и на люди ходить, могла отказаться, никуда не проситься – чтоб ему этих тягот с ней не делить. А – что она видела в жизни с ним?

Впрочем, всё и проплывало и было действительно лишь на случай, если умрёшь. А я...

– ...Я-то ничем не рискую, мне обеспечено остаться в живых, – усмехнулся Воротынцев Харитонову, лёжа с ним рядом на животах, на одной шинели.

– Да? Почему? – серьёзно верил и радовался веснушчатый мальчик.

– А мне в Маньчжурии старый китаец гадал.

– И что же? – впитывал Ярослав, влюблённо глядя на полковника.

– Нагадал, что на той войне меня не убьют, и на сколько бы войн ни пошёл – не убьют. А умру всё равно военной смертью, в шестьдесят девять лет. Для профессионального военного – разве не счастливое предсказание?

– Великолепное! И, подождите, в каком же это будет году?

– Да даже не выговоришь: в тысяча-девятьсот-сорок-пятом.

Они лежали в частом молодом зеленохохлом соснячке, в каком зайцы любят зимой играть на солнце, – Воротынцев выбрал его за то, что здесь в пяти шагах можно пройти и не заметить лежачих. Всего полтора километра оставалось до шоссе, уже доносился характерный шум автомобилей и мотоциклетов, то справа налево, то слева направо. Будь у немцев силы, они выслали бы сюда патрули для прочёса. Таких сил, очевидно, не было, до темноты можно было лежать спокойно, но и вперёд прежде времени двигаться нельзя: лесной мысок неширокий только и был перед ними, в этом мыске могли накапливаться и другие русские группы, да и немцы могли прийти туда раньше из соседней деревни Модлькен. С трёх сторон Воротынцев выдвинул лежать по два солдата, остальные были в середине. Они пришли сюда в жаркий послеполуденный час, здесь застоялся накалённый воздух, палило, отнимало силы, высушивало до жажды, а фляжки не у всех.

– Ничего, – утешал Воротынцев своих, – жара да при свете – не самое плохое. Вот под Ляо-яном, например, – да когда же? завтра, 18 августа, – вот такой же жаркий день, а к вечеру, нам отступать, – ко всей канонаде японской и нашей ещё добавился такой ветер с пылью, такое чёрное небо, такая гроза, небо в тысячу осколков, тропический дождь, а японцы всё бьют; где гром, где пушки, не различишь.

Душно было тут лежать, но и отбираться назад никак уже не хотелось, нелегко было дойти сюда, переходили и открытую полосу железной дороги, которую немцы вполне могли простреливать с дрезин, – да не хватало их сил, что-то творилось весь день под Найденбургом, вспыхивала и вспыхивала стрельба, хотя и не приближаясь. Верный день был вырываться сегодня, завтра будет поздно.

Прожигала Воротынцева катастрофа армии. О судьбе боя под Найденбургом, о 1-м корпусе, кто там идёт, где там Крымов, волновался он больше, чем о выходе своего отряда. Но, все часы перед собой раскрытую карту держа, заставлял себя смотреть не на весь простор, а запоминать засветло каждую извилину ближнего лесного окрайка: где бы в темноте ни оказаться – представлять себе все расстояния, а обязательно что-нибудь упустишь или уверенности не хватит, и тогда рассматривай под шинелью со спичками.

Свой несомненный план Воротынцев изложил не на совещании господ офицеров, как полагается, но, при полупартизанском их положении, тем изложил, кому предстояло его выполнять: Благодарёву и Качкину; двум лучшим стрелкам из дорогобужцев, как сами называли они – здоровому медлительному вятскому охотнику и молодому рязанцу Евграфову, приказчику суконной лавки; и подпоручику Харитонову – оказался он из первых стрелков в училище, просил дать ему самую дальнюю цель. Этих пятерых Воротынцев и стянул к себе по песку под нижними ветвями сосенок, шестью головами вместе, шестью парами ног вразброс. А ещё так, чтобы в пределах слуха был и поручик Офросимов, на носилках. У него жар был, разбаливалась рана, помочь он не мог, но один мог сказать нечто облегчающее – и эту возможность Воротынцев ему давал.

Должны были начать движение с темнотой, ещё при луне. Сперва – согнувшись, от начала опасности – только ползти. Передняя группа – Благодарёв и Качкин, с ножами. Им – красться не торопясь, не треснув веткой: полночи им времени, переходить будем ближе к рассвету, с вечера немцы и настороженней. Сто саженей пройдя благополучно – возвращаться по очереди и звать вторую группу, стрелков. Стрелки, пройдя сто саженей, связным вызывают третью группу – всех остальных с носилками. Если же передним встретится немецкий пост, засада, – беззвучно убирать ножами.

– Так? – проверил, близко смотря на губошлёпистого Благодарёва и бочкогрудого Качкина.

– Да Господи, – выдохнул Арсений кузнечным мехом. – Они ж нас домой не пускают!

Качкин дёрнул щетинистой чёрной щекой:

– Я – на полсела скот забиваю.

Стрелков будет четверо, с Воротынцевым. Подпоручику взять винтовку у Благодарёва, проверенная. Патронов – по три подсумка. В лесу вряд ли придётся огонь открывать, а вот – с края леса и по шоссе. И потом уже – с того боку шоссе, прикрывая отбег наших.

Объяснял, как бить по разным целям, где залпами, где разделясь. И тут от поручика Офросимова услышал, что он свой долг понимает. Тоже небритый, чёрный, перекошенный, со взглядом блуждающим, на локте поднявшись с обрыднувших носилок:

– Господин полковник, разрешите сказать? Я прошу... чтоб меня не обязательно выносить... а если... по обстоятельствам. Знамя отматаем сейчас, я передам. А положите меня только удобно и патронов больше.

– Принято, – сразу отозвался Воротынцев. – Благодарю, поручик. Евграфов, возьми знамя.

Шустрый Евграфов, как и Качкин, раньше всех дорогобужцев очнулся от пришибленности, рвался в действие:

– Есть, ваш-соко-роди! Разрешите мотать? – и уже вскакивал.

– Ле-жи.

Получилось так, что из офицеров один Ленартович не был позван на совет. Обиделся не обиделся, но сел ближе, около Офросимова, прислушивался, а теперь спросил:

– Господин полковник, всё-таки объясните: ну, а если шоссе никак нельзя будет перейти?

– Что значит – «нельзя»? – посмотрел на него Воротынцев строго и с сожалением: ведь можно, всё из него ещё можно сделать, да некогда. – Не локоть же к локтю они стоят. Лисица – проскочит? так и мы пробежим. А вы подумали – как *им* на шоссе? Они полоской протянуты, им страшней: откуда из лесу повалят?

– В армии не бывает *нельзя*! – поучал его и Офросимов. – В армии – всё можно.

Не ответил Ленартович, а подумал: вот это и плохо, вот вы и привыкли, что всё вам можно. Вот потому и надо все армии в мире распускать.

Совет был кончен, передавали знамя, патроны. Воротынцев навязал Ленартовичу свой топорик:

– У вас ведь руки голые, с чем пойдёте? – И видя колебание, не смеются ли: – Берите, берите! Первое оружие – топор!

Ещё долго досказывал полковник ножевикам и стрелкам, какая ждёт их дорога, через сколько шагов что будет. Требовал повторять, на песке чертить, как поняли.

А потом оставалось только лежать, голову на руки, лицом в песок, ожидать тревожно. Уж всем хотелось, чтоб ночь скорей: эти последние свои часы были всё равно не свои. О войне, о бое – никто не говорил. Пожилые дорогобужцы – о кормах, о коровах здешних чернопёстрых и о своих. Потом – и никто ни о чём, замолчали.

Солнце скатывалось, смягчалось, но в их мелкошесы ещё достигало, и багровый-багровый закат, западая за главный лес, сюда досвечивал. От заката потянулись тучки, сперва розовые, потом темнея в сизо-лиловые, – не к перемене ли двухнедельного зоркого ведра, повидавшего и приход и гибель русской армии?

Кажется, никогда ещё так Саше не сходилась: доживёшь ли до утра? не последний ли твой закат? В каком мире окажешься завтра? Валяться ли на песке, раскинув руки? Идти ли под конвоем? Или жадно писать на кусочке бумаги: «Родные мои! Я вышел! Я уцелел!» И: «Вероня, поцелуй за меня Ёлочку!» Отсюда – это не развязно, не оскорбит вкуса. А – горячо.

Он вертел навязанный ему топорик. Маленький, лёгкий, а так остро наточен – можно представить, как мягко входит в череп. Но – как им ударить человека? Такой решимости Саша в себе не находил. Нет, это мерзко: это – убийство. Хотя принципиально рассуждая: а чем лучше пуля? Вчера уже убивали Сашу, чуть не убили. И если выхода нет, если нескольких немцев сегодня ночью беззвучно заколют ножами Качкин и Благодарёв или подстрелит телёнок-подпоручик – пожалуй не придётся. Но самому, топором, видя живое лицо – нет, не хотелось бы.

Неумолимо всё повернулось. На шоссе гудели и сновали немцы. Были ведь и среди них социал-демократы, насильно погнанные на эту бойню. И в другой обстановке Саша был бы рад жать им руки, приветствовать на митинге. А сегодня вся надежда жизни, как на отца, – на этого полковника, слугу престола.

Тянулись сумерки. Весь лес был тёмный, а на их молодую посадку чуть посвечивал серпик молодой луны. От запада к ней подбирались тёмными рукавами вытянутые тучки, угрожая закрыть.

Скомандовал Воротынцев: двигаться, не качая вершинками.

Передвинулись в лес. Здесь темней было гораздо, но подсвечивал месяц и сюда. Ушли ножевики. Собирались стрелки. И тут внезапно страшно осветилось: ярко, фосфорически!

Переполошились, выглянули опять к мелкой посадке – это прожектор был! Где-то очень близко, тут, у шоссе и деревни, он стоял! Светил не сюда, светил справа налево вдоль шоссе. Не сюда светил, и от узкого истока луча сюда отдавалось лишь рассеянное.

Вот тебе и перешли!.. Вот так на войне и рассчитывай!

– Всё... – вырвалось у Саши. – И что бы не в нашем месте, подальше!

– Это и хорошо, что близко, – соображал Воротынцев. – Скажите: лишь бы не второй. Близко – мы его и подстрелим, доступная цель.

И стрелки ушли.

Луну закрыло. Сноп прожектора не двигался, его боковое мерцание лишь выявляло чёрные контуры. Теперь все события перешли в звуки. У шоссе стреляли редкими пулемётными очередями – то ли для остротки, то ли русские уже высывались где-то. Потом приближался шорох. Каждый раз это мог быть чужой, но приходил от стрелков свой: можно дальше перейти. Несли Офросимова на опущенных руках, ступая мягко, как при спящем; оттого что долго держали, оттягивало руки. Казалось бы – ровный лес, но попадались то кучи шишек (немцы прибирали, как в доме), то канава, то ямка. Раза два передвинулись, потом долго-долго ждали вызова, уж думали всё пропало. Оказалось: наши теряли компас, искали в темноте. Офросимов, заменяя стоны, мотушился в темноту шёпотом, Саша просил его прекратить, это было очень неосторожно: вот слышали близко сбоку голоса, наверняка не из нашей группы, а кто? – языка не разобрать. Затаились, штыки приготовили. Миновало. Зачуялось, будто собака рычит неподалеку, – нет, и не собака, миновало. Пожалуй, с версту они протащились так, да больше: теперь, когда на шоссе гудело или очередь давали – совсем было рядом. И светлей стало – оттого что больше захватывал их побочный косой сектор прожектора, к счастью всё неподвижного. Так – часа три, наверно, ушло. Ничто не изменилось в их пользу, а могло быть, что лезли они в ловушку, откуда уже ни вперёд, ни назад не уйдут, стоило лишь прожектор повернуть и идти на них цепью. Нельзя сказать, чтоб страшно было Саше, а – тоска какая-то, отчаяние. Ручку топорика он сжимал, если что – так и хрястнуть по черепу.

Вдруг близко справа – ударили наши! В четыре винтовки – не залпами, но вперехлест, как бы состязаясь в быстроте! И на десятке выстрелов – погас прожектор!! Погас! И весь мир сразу погас! полная темнота! И наши – тоже замолчали!

И что ж – нам?! И куда же – нам?..

А тут ударил пулемёт, два пулемёта – с шоссе! Но – наудачу, напропалую, неизвестно куда.

И – кабаном треща и ломясь, подкатило спереди – что? кто? – Качкин:

– Где тут поручик? Бросайте носилки! Я его – на плече! Айда за мной, площаки!

56

Русские снова в Найденбурге. – Ночь в госпитале. – Сотник из конвоя Мартоса. – Допрос его генералом Сирелиусом. – Дева Света. – Новое понимание Тани Белобрагиной. – Уход русских. – Таня прячет на себе полковое знамя.

17-го утром открылась по Найденбургу внезапная с юга стрельба – и русские раненые оживились, избочась выглядывая с кроватей в окна, а сестры выбегали наружу радоваться облачкам русских шрапнелей и фонтанам русских фугасов, будто от них своим не могла достаться смерть. Немецкий врач и фельдшеры посмеивались, не веря отходу своих. Целый день вокруг стреляли, но боя не было, и немецких войск почти не было, и русские не входили. Только вечером ушли от госпиталя немецкие часовые, оставив палаты своих раненых. Новая же власть не спешила объявляться, узнать о госпитале и вывозить своих раненых в тыл.

Уже в темноте прокатывали по городу русские запряжки, проходили конные и пешие. Несколько зданий в городе, загоревшиеся ещё засветло, с темнотою стали единственным грозным освещением ночи. В таниной палате одно окно открывало вид на пожары, на весь город, – и она стояла, распахнувши створки, смотрела, смотрела, иногда отвечая раненым. На багровом пожарном под свете чётко выступали особенности чужеземных зданий – фигурные надстройки над фасадами, кружевные и зубчатые кирпичные выкладки, узорчатые балконы.

В том состоянии была Таня, что вся эта стрельба, пожары, уходы, приходы войск не пугали её, а облегчали. В духоте палат, в гари разрывов и пожаров ей становилось свежо, нисколько она не боялась простой человеческой боязнью. Наоборот, от этого всего сердце её облегчалось, и боль снималась. Она понимала, что происходит ужасное что-то, но через поволочу, – а сердце облегчалось, и от этого сил было много, и, почти не нуждаясь ни спать, ни есть, она только делала, что велят.

Верных сведений не было у госпиталя, слухов – избывало. Даже и при немцах то и дело к ним подбавлялись свои раненые из разных частей, и нанесли, что убиты все старшие командиры, и перепутались все русские части, а немцы со всех сторон стреляют, разрезают и в плен берут. В танину палату попал чубатый сотник из казачьего конвоя генерала Мартоса (занял угловую койку ростовского подпоручика, ушедшего пешком в последний час). Не тяжело и раненный, он был сильно возбуждён и беспокоил всех смутными громкими рассказами о гибели их корпуса и их генерала. С таким жаром он рассказывал, не давая себя удерживать, как будто в том удовольствии находил, что всё очень плохо и все погибли. Слух об этом сотнике разошёлся по госпиталю, приходили его слушать и врачи.

Наступившей ночью ждали подвод для эвакуации, ждали начальства – и действительно, в полночь, при тускло-красном свете неблизкого пожара на площадь перед госпиталем въехал автомобиль, из него вышел главный врач и русский генерал с адъютантом. Через две минуты они были уже в таниной палате. И шли к сотнику. И к ним сюда, в угол, Таня поднесла керосиновую лампу со стола.

Чубатый, лохматый, угольный сотник так и выиграл в кровати навстречу генералу, как если б и ждал только его, для этого генерала и был его весь рассказ. А генерал – с белой-пребелой холёной кожей лица, холёными усами, столичный и вообще неснисходительный, – тоже как будто этого сотника искал: он не второпях, не мимоходом его расспрашивал, а сел к нему на нечистую кровать, выставил к нему представительные глаза, адъютанту же велел всё записывать, начиная с фамилии, чина и части.

Таня недрожавшей рукой держала жёлто-зелёную высокую стеклянную лампу над записями адъютанта, между головами сотника и генерала – и пытливо, и вот уже с прояснением всматривалась в них.

Двухдюжинный раз повторил сотник весь рассказ, уже всем известный, украшая его новыми подробностями, пожалуй и не в противоречие с прежними. Как весь корпус остался на позициях, а генерала Мартоса послал Командующий Самсонов занимать Найденбург. Как они ехали к Найденбургу ранком вчёрта, но от драгунов разведали, что он уже у немца. Как поехали выбирать позиции и попали под картечь в трёхстах саженях – и убит был начальник штаба корпуса, и убит начальник дивизии генерал Торклус и многие казаки, а они, оставшиеся верными, отступили с Мартосом в лес. Как у Мартоса адъютант пропал – с сумкой, а в ней и еда, и курево, и компас, и карты, и генерал был голодный и не знал куда. Лошадей под ними подбили, они пешком по лесу блукали, но куда ни совались – со всех сторон уже стояли немцы. И самого этого сотника послал Мартос пробиться в город и рассказать об общей гибели; обнял его на прощание, и тут же, на его глазах, застрелился, не вынеся такого позора.

Головой белокожей, кругло-оттянутой как огромное куриное яйцо, генерал кивал и переспрашивал:

– Значит, вы подтверждаете, что генерал Мартос в вашем присутствии застрелился?

– Как Бог свят, ваше превосходительство!

Адъютант записывал.

Со строгостью, с огорчением, но даже без удивления кивал гвардейский генерал: только этого он и ожидал, именно это предвидел. И мешало, и неожиданно было ему лишь лицо сестры милосердия, неприятное своим тёмным, жгучим, добывающим взглядом – мимо лампы и на генерала, от неё глазами блестя – на него. Из-за этого он шеей дёрнул несколько раз и старался больше не смотреть на сестру.

А Таня – словно пробудилась. За все недели, прошедшие от измены жениха, первый раз с таким полным вниманием, совсем забыв о себе, она вбирала событие внешнего мира, происходящее в одном аршине от её выставленной некопящей, светлой лампы с чистейшим стеклом. Таня не могла уличить, не могла доказать, но неприкровенным взглядом она втянула: оттого так многословен, возбуждён, с такой страстью всех уверяет сотник, что ему надо скрыть грех, а не тот ли, что бросил он генерала Мартоса в опасности и бежал; и оттого так верит охотно, не ловит, не сбивает сотника этот важный лощёный генерал, что ему зачем-то надо, удобно.

Как Дева Света, она внесла светильник в трёхголовый тёмный треугольник и безстрашно высвечивала его.

До сих пор понимала она войну как неизбежную неуправимую стихию, в которой войнам суждено получать раны и погибать, и нет у человека над этой стихией власти. И даже видя и облегчая страдания раненых вокруг, она собственную душевную боль ни разу не поставила меньше их ран: их всех страдания были от стихии, на которую нельзя обижаться, её – от несправедливости, от подлости, от измены.

Но сейчас из этого тёмного треугольника, составлявшего протокол, проступила Тане явная злая воля – и проступило, что от этой воли зависит судьба их госпиталя, всех уже раненых, и ещё тех, что могут быть ранены завтра, – и первый раз чужая общая боль потеснила, потолкала и принизила её собственное унижение, обманное состояние, оказавшееся вдруг не высшим страданием в мире, а даже совсем маленьким.

И она с вызовом и упорством держала свет правды, видя, как режет он генеральские глаза, как неприятен ему.

Осмелев уже до крайности, говорливый сотник убеждал генерала:

– Ваше превосходительство! Они вас в этот город не зря пустили. То – капкан. У них тут войск освободилось – сила, они все круг вас собираются. Смотрите, кубыть не захлопнули!

Да, да, этого-то и боялся генерал Сирелиус! Он и удивлялся, что немцы так легко отдали ему ключевой город. Они сильнее нас, почему же отдали город? Одинокое стояние его дивизии здесь становилось всё более опасным. Растянувшиеся от Млавы подкрепления ещё неизвестно когда подойдут, а захлопнуть здесь капкан могут каждый час, особенно на рассвете. До окружённых русских частей может быть и осталось недалеко, десять вёрст, но не ночью же туда идти, в полную неизвестность, в немецкую густоту. Да и какие там войска, если вот подтверждают очевидцы, что генералы убиты, части рассеяны, они всё равно погибли, и нельзя это поражение отягощать ещё новой жертвой – гвардейцами Сирелиуса. Да и само отправление его отряда не было по-настоящему полномочным: Сирелиус – из 23-го корпуса и видный гвардеец, он не обязан подчиняться армейцам из командования 1-го корпуса. Показания этого сотника-очевидца давали ему хорошее основание пересмотреть приказ.

И лишь уклоняясь, шеей по-гусиному поводя, от допытчивого, даже ненавистного взгляда статной темноглазой сестры, миновав её яркую лампу, Сирелиус поднялся и ушёл с адъютантом.

И скоро зафыркал, уехал с площади автомобиль.

О чём подумал генерал, что решил – никому не дано было знать. А все, кто в палате был в яви и слушал, – поняли. Что никуда их не повезут. Что они остаются в плену.

Таня кинулась искать Валерьяна Акимовича – но он и раньше рассказу сотника не верил, и что он мог? К главному врачу? – но только для них и был он главный, а перед генералами маленький человек. И – что у неё было, кроме показаний сердца?

Как никогда Таня хотела быть полезной – и не знала, что делать. Ей стало стыдно, что столько недель она возносила своё горе выше горь окружающих.

До утра так и не было стрельбы. Догорали пожары, никем не тушимые. Прокатили артиллерийские упряжки – обратно, по сравнению с тем, как вечером. По другой улице воротилась пехота. И рассветный час был тих, безлюден. Раньше времени, до солнца, стали высовываться жители – они тоже за окнами не дремали. Вот стали и по улицам ходить, сперва беззвучно. И скоро уже – радостно гомонить, кричать, поздравляя друг друга и шляпами приветствуя первых немецких солдат, снова вступающих в город.

А раненые лежали, обхватив головы. И со слезами переходили сёстры.

Пришли немецкие часовые и стали в каждом коридоре.

И не раньше, а уже после этого прибежала из палаты полостных пожилая курносенькая хлопотливая сестра и – шёпотом, задыхаясь:

– Танюша! Новый раненый приобрёл... у меня лежит... Еле дотянулся, кончится сейчас. На нём – полковое знамя Либавского полка, обернулся по груди. Что делать?

Таня сверкнула, ни миг не колеблясь, даже обрадованно:

– Пойдёмте! На себя намотаю!

– Да ведь в коридоре немцы! – кудахтала курносенькая. – Это – в палате придётся и скорей.

– Ну так и в палате! – уверенно обгоняя, шла Таня.

– Да как же ты при всех? Это – под сорочку надо, всё снимать!

– Ну так и снимать! – уже вносило Таню в ту палату.

Она и перед женщинами избегала раздеваться, стыдась, что груди даже по её фигуре велики, слишком налиты, она в отрочестве плакала, считая это уродством.

– Подколем булавками?

– Нет, зашьём! Где он?! Одна будет наворачивать и зашивать, другая в дверях, чтоб немца не впустила!

57

(18 августа)

Обратное наступление Франсуа на Найденбург. – Панические директивы Жилинского. – Штаб Второй армии спасся. – Ренненкампфу отступить. – Генерал Гурко в Алленштейне, третье место разреза кольца.

Ну, да если бы Сирелиус и не струсил в ночь на 18-е, Найденбурга ему бы не удержать, слишком долго он шёл и слишком растянулись его силы. По пружинной готовности германцев, к исходу ночи уже три дивизии было у Франсуа под городом и две на подходе. Хотя сам Франсуа, канатоходцем на проволоке, сидел на полоске шоссе в деревне Модлькен, другой опоры не имея, а с севера группами прорывались русские и у самой деревни подбили ему прожектор из винтовок, могли и к штабу прорваться, – он расписывал для пяти дивизий, как им концентрически брать Найденбург. А по тестяной податливости главнокомандования русского Северо-Западного фронта – именно вечером 17-го, при наибольшем успехе Нечволодова и Сирелиуса, когда ещё многие сильные русские группы (под Вилленбергом – 15 тысяч) готовились к ноч-

ным и утренним прорывам из кольца, – Жилинский-Орановский велели фланговым корпусам не выручать окружённых, а *отступать*.

И – как отступать! Благовещенскому: отойти на 20 вёрст, если противник теснить не будет, и даже на Остроленку (ещё 35), «если будет теснить». Душкевичу: на 30 вёрст и даже на Новогеоргиевск (ещё 60). Как же к месту пришёлся разумный Кондратович, на ту линию загодя убежавший с ам!

А с переночеванием глаза страха ещё растягивались. Когда 18 августа Постовский самовольно укатил спасённый драгунами армейский штаб обосновывать в сорока верстах позади прежнего положения в Остроленке – штаб фронта ответил вослед: «На ваш переезд согласен». Да ведь удобно: теперь возобновлялась со штабом армии нормальная телефонная-телеграфная связь и обмен депешами. И вот когда послано было в штаб Второй армии письменное *разрешение от штаба фронта выдвигать 1-й корпус также и далее Сольдау!*

А что же с Ренненкампом? «Генерала Самсонова постигла полная неудача, и противник может свободно обратиться против вас». После всех промедлений как раз-то и пошла его конница в глубину: конный корпус Хана Нахичеванского уже нависал над Алленштейном! кавалерийская дивизия генерала Гурко подходила разрезать самую слабую – восточную – дугу кольца! Именно 18 августа генерал Гурко легко вступил в злополучный Алленштейн, откуда покатались все бедствия 13-го корпуса. Немцев не было или были со спины, ничего не составляло его конникам резать и дальше немецкое окружение. Это было уже *третье* место за сутки, где русские легко разрезали немецкое кольцо.

Но для штаба фронта – слишком рискованно, очень опасно! «Выдвинутую конницу притянуть к армии...» (Это – чтобы без слова *назад*.) И всей Первой армии начать отход.

(Промедлит и в этом Ренненкампф, теперь из гордости, что ли, – и через неделю, от такого же окружения спасаясь, предстоит его армии марафонское бегство – *Rennen ohne Kampf*, как немцы назовут.)

Да, вот ещё: на достойную замену погибшего Самсонова прислать корпусного генерала Шейдемана.

Будущего большевика.

ДОКУМЕНТЫ – 6

18 августа

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

Германский и австрийский генеральные штабы в своих сведениях о положении на театре военных действий продолжают придерживаться принятой ими системы: по телеграфным сообщениям «Агентства Вольфа», германская армия «одержала полную победу над русскими войсками в Восточной Пруссии и отбросила их за пограничную линию...».

Правдивость и ценность этих сведений не требуют каких-либо пояснений.

Огня под полой не унесёшь!..

*После боя. Картины котла глазами лошади. – Лошади. –
Брошенное имущество. – Люди. – Русские пленные. –
Пленные генералы. – Концентрационный лагерь.*

Экран

= Морда лошади,
непородистой, гнеденькой, русской. Беззащитная, незлобивая морда.
А отчаянья может выражать не меньше человеческого: что со мной? куда
я попала? Сколько смертей я видела! – и вот при смерти сама.
С неё хомут так и не снят. И не расслаблен.
Измождена, ноги еле держат. Её не кормили, не выпрягали, а только
хлестали – тяни! спасай нас! Уж вырвалась сама, оборванные постромки.
Перебрала ушами, бредёт безнадёжно куда-то,
где нога увязает в
чавкающей
мочажине.
Вздёрнется, с усилием выберется из гиблого места,
опять бредёт, заступая постромки, волочащиеся по земле,
голову низко опустила, но не травы ищет, её здесь нет...
Пугливо обходит
лошадиные трупы. Все четыре ноги столбиками вверх и животы
вспухшие.
Какие вспухшие! при смерти – как увеличивается лошадь!
А человек – уменьшается. Лежит ничком, скорченный, маленький, не
поверить, что от него был весь гром, вся стрельба, всё передвижение этих масс,
теперь брошенных, поваленных. Повозка в канаве на боку,
а колесо верхнее стало как руль...
Фургон, как бы в ужасе опрокинутый на спину, а дышло вверх...
взбесившаяся телега, стоямя на задних...
перепутанная, разорванная, разбросанная упряжь...
кнут...
винтовки, штыки отдельно и ложи отбитые...
санитарные сумки...
офицерские чемоданы...
фуражки... пояса... сапоги... шашки... полевые офицерские сумки...
солдатские заспинные мешки...
иногда – и на трупах...
Бочки – целые, и пробитые, и пустые...
мешки – полные, полуполные, завязанные, развязанные...
немецкий велосипед, не довезенный до России...
газеты брошенные... «Русское Слово»...
писарские документы шевелятся под ветерком...

Трупы этих двуногих, которые нас запрягают, погоняют, секут кнутом...
и – наши опять, лошадиные трупы.

Если выворочен живот у мёртвой лошади, то

крупные

мухи, оводы, комары над гниющими вытянутыми внутренностями
жадно жужжат.

А выше, выше

птицы кругами летают, снижаются к падали
и кричат, волнуются на десятки голосов.

= Нашей лошади этого не забыть. Да она

= не одна здесь! О-о-о-о, сколько тут бродит их, по битвищу,
на низменной, болотистой, проклятой местности,
где всё это брошено, кинуто, перевёрнуто,
между трупов и трупов.

= Бродят лошади десятками и сотнями,
сбиваются в табуны,

и по две, по три,

потерянные, изнеможённые, костлявые, ещё живые, кому вырваться
удалось из мёртвой упряжи,

а кто и в сбруе, как наша,

или с оглоблями тащится,

или – две, а между ними волочится вырванное дышло...

и – раненые лошади есть...

ненаграждённые, неназванные герои этого сражения, кто протащил на
себе по сто, по двести вёрст

всю эту артиллерию, теперь мёртвую, утопленную в болоте...

всё это огневое снабжение, зарядные ящики на цепях, поди потяни их!..

= А кто не вырвался – вот их судьба: вперекрест друг на друге две полных
убитых упряжки, три выноса и три...

так и лежат, топча и давя друг друга, мёртвые...

а может, и не все мёртвые, да некому выпрячь и спасти.

= Или вот, мёртвые упряжки, накрытые обстрелом

на подъезде снять батарею с позиции. Батарея – была до последнего:
разбитые орудия,

убитая прислуга вокруг,

и – полковник, косая сажень, видно командовал вместо старшего
фейерверкера...

Но и трупами немцев, погибших при атаке, заложено поле перед
батареей.

= А лошадей – ловят. Гоняются за нами, хватают...

а мы, лошади, шарахаемся...

а они опять ловят, вяжут...

Это – немецкие солдаты,

такой уж им приказ, не позавидуешь – за лошадьми гоняться,
пропадают тысячи трофейных лошадей.

= Да не только за лошадьми. Вот на краю леса строят колонну
русских пленных,

и раненых, неперевязанных.

А глубже в лесу, глубже,

лежат на земле ещё многие, обезсиленные или спящие,
или раненые,
а немцы – цепью идут по лесу
и находят, вылавливают их,
как зверей,
поднимают,
а когда тяжело раненный —
выстрел
достреливают.

= Вот и колонна пленных тянется, почти без конвоя.

Лица пленных. О, жребий тяжкий – знает, кто его испытал!..

Лица пленных... Плен – не спасенье от смерти, плен – начало страданий.

Уже сейчас клонятся, спотыкаются,

а особенно плохо – кто ранен в ногу.

Только верный товарищ, если за шею обнять его,

ведёт тебя, полунесёт.

= А другим пленным ещё хуже: не идти налегке, но, вместо лошади
впрягшись,

свои же пушки русские, теперь трофейные, вытаскивать,

выталкивать, выкатывать,

победителям к шоссе, где разъезжают на блиндированных автомобилях,

и самокатчики вооружённые,

и при пулемётах сидят, готовые к стрельбе.

= Здесь уже много выстроено, составлено русских пушек, гаубиц,
пулемётов...

= А ещё тянут по шоссе рослые битюги большую обывательскую фуру с
жердяными наставками, на какой сено возят. А в ней везут

ближе, крупней

русских генералов!

Только генералов! – девять штук.

Смирно сидят на подостланном, подвернув ноги,

все головы в одну сторону, все в нашу сторону смотрят покорно,

покорные своей судьбе. Кто тёмен, а кто даже и спокоен очень:
отвоевались, меньше забот.

= Останавливает фуру, у своего автомобиля стоя,

немецкий генерал, невысокий, остроглазый, несколько дёрганный, может
быть, по торжеству, —

генерал Франсуа, с победительным прищуром.

Не жалко ему этих генералов, но – презирует он их убогость. И жестом:

пересаживайтесь! что уж там на фуре! у нас

автомобилей на генералов хватит, вот четыре стоят.

= Разминая затекшие ноги, русские генералы сходят с фуры,

пристыженные, отчасти и довольные почётом,

садутся в немецкие автомобили.

= А пешую колонну ведут

в загон для людей, обтянутый

временной колючей проволокой, почти условной,

на временных шестах, прямо в поле.

Тут пленные по голой земле рассеялись —

лежат, сидят, за головы взявшись,
стоят и ходят,
измученные, обшарпанные, перевязанные, перевязанные, в
кровоподтёках, с открытыми ранами,
а некоторые, почему-то, в одном белье,
иные разуты,
и, конечно, все некормлены.
Через проволоку смотрят на нас покинуто, скорбно.
= Новинка! как содержать столько людей
в голом поле, и чтоб не разбежались!
А куда ж их девать?
= Новинка! кон-цен-тра-ционный лагерь!

ДОКУМЕНТЫ – 7

19 августа 1914

ОТ ШТАБА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Вследствие накопившихся подкреплений, стянутых со всего фронта благодаря широко развитой сети железных дорог, превосходные силы германцев обрушились на наши силы около двух корпусов, подвергнувшись самому сильному обстрелу тяжёлой артиллерией, от которой мы понесли большие потери. По имеющимся сведениям войска дрались геройски; генералы Самсонов, Мартос, Пестич и некоторые чины штабов погибли. Для парирования этого прискорбного события принимаются с полной энергией и настойчивостью все необходимые меры. Верховный Главнокомандующий продолжает твёрдо верить, что Бог нам поможет их успешно выполнить.

59

***Разными выросли Саша и Вероника Ленартовичи. – Пламень тётей
Адали и Агнессы. – Тщетные усилия их в правильном воспитании
Вероники. – Ренегатская эпоха. – Ликоня. – Жизненные взгляды девушек. –
Тёти убиваются позорным патриотизмом первых дней войны. – О
заседании Государственной Думы. – А по Вероне и Ликоне – скользит.***

Бывают же дети – перенимают наши обычаи и взгляды так, что лучшего не пожелать. А другие – как будто и не ослушные, на каждом детском шагу ведомые как будто правильно, – вырастают упрямо не по нашей линии, а по своей.

И то и другое узнала Адалия Мартыновна, после смерти братниной жены, а потом и старшего брата взявшись растить одиннадцатилетнего Сашу и шестилетнюю Веронику. И сестра Агнесса, через несколько лет воротившаяся по амнистии Пятого года из Сибири, должна была, при всём своём жаре и напоре, убедиться в том же.

Конечно, тут не только характер: Саше было уже 16 лет, когда казнили дядю Антона, он много перенял от него ещё при жизни и готов бы был вместе с ним идти на *акт*, если бы тот

позвал. Саша сохранил этот порыв, его затопляли интересы и боли общественные, вне их он не понимал жизни или какой-то там карьеры. Каждого человека, каждое событие, каждую книгу истолковывал Саша в главном контрасте: служат ли они освобождению народа или укреплению правительства.

А Веронике меньше досталось помнить дядю живого, она только постоянно видела святыню его портрета на стене в их гостиной. Или от девушки вообще не следует ждать такой последовательности? Но в *их* время, время юности Адалии и Агнессы, не были редкостью как бы революционные монашки – те народницы и подвижницы с некосвенным взглядом, с речью несмешиливой, кто знали только общественное служение, подвиг и жертву для народа, а свою отвлекающую красоту, если она была, прятали под бурыми, грубыми платьями и платками, на простонародный манер. И почти такие же были сами они обе, и их живой пламень мог бы иметь решающее влияние на Веронику. А вот не имел.

В десять лет Вероника была так простодушна наружностью – с прямым пробором на две косички, ясноглазая, с покойными толстенькими губками, что Агнесса, тогда воротившаяся, уверенно заявила: беззаветная растёт, наша. Направления понимали тётки по-разному: Адалия ни к какой партии не принадлежала, была народницей вообще, по душе, конечно левее кадетов, так, на меридиане народных социалистов; Агнесса же – то анархистка, то максималистка. Но все разъединения русской интеллигенции в конце концов второстепенны, вся русская интеллигенция в конце концов есть одно направление и одна партия, слитая в общей ненависти к самодержавию, презрении к жандармам и общей жажде демократических свобод для пленённого народа. Партийных программ сёстры между собою не делили, а, почти погодки, сжились, любили друг друга, преклонялись перед погибшим братом, на десяток лет моложе их, – и восхищения, отвращения, похвалы, хулы, тревоги и надежды сестёр были почти всегда общие.

Но что-то лукавели глаза Вероники, форма губ по-новому объяснялась, и новое значение в улыбке, – тётушки забеспокоились: тут воспитатели не должны дремать! Жизненные понятия тоже не совсем сходились у сестёр: Адалия арестовывалась один раз на полтора дня, все годы провела в обычном человеческом быте и замужем, пока не овдовела, Агнесса побывала и в тюрьме и в Сибири, в промежутках целиком отдана революции, политике и никогда замужем, хотя собою недурна. Но тут они вполне сошлись и стали настойчиво сбивать в глазах Вероники значение красоты и поднимать значение характера: красота – такая же опасность для женщины, как для мужчины слишком острый ум, она влечёт за собой самовлюблённость, безответственность, всё для меня. К счастью, союзником тётей как будто оказался и темперамент Верони: была в ней природная невзмучаемость, медленный отзыв на внешнюю жизнь, и веяние чистоты, – и это сбивало поклонников на дружбу да рассуждения, даже и на встрече летних петербургских зорь. Внушили Вероне, что в людях надо пробуждать хорошее, – она и пробуждала.

Однако этот же темперамент и помешал успеху воспитательниц. Вероника искренно трогалась всеобщими страданиями, но в жажду борьбы, но в ненависть к притеснителям никак это не переходило; в её расплывчатом, безграничном сочувствии не прочертилось категорической границы, отделяющей жертв социального угнетения от жертв прирождённых уродств, собственного характера, ошибившихся чувств и даже зубной боли. (Так и сегодня, в наступившей войне, Вероника только и видела то простейшее, поверхностное, что вот теперь убитые, пропавшие без вести, вдовы и сироты, не выше того.)

А тут ещё и сами годы после раздавленного багряного всплеска, невыносимые эти годы, после Девятьсот Седьмого, когда стало жить мрачней и тяжелей, чем до революции, – сама эта эпоха текла – ренегатская, безгоризонтная, рептильная. Отошла ослепительная эпоха, выраженная поэтом:

Славьте, други, славьте, братья,

Разрушенья дивный пир!

Теперь груди борцов задыхались без воздуха, и можно было воистину повторить другого поэта:

Бывали хуже времена,
Но не было подлей.

Раньше очень хорошо влиял на Вероню Саша, даже более влиял, чем тётки: на пять лет, на полгимназии старше сестры, потом на целый университет, в суждениях решительный, никогда не оставляющий возражения, пока не опровергнет его, не загасит, – он имел над Вероней такую власть ума и нравственного суда, что она стыдилась и каялась перед ним в своих отклонениях, старалась от них отмыться или хотя бы скрыть и быть достойной брата. Но на минувший год заглотнула Сашу прожорливая машина армии, а у сестры это был самый важный год, первый год курсов.

Вероятно бы окружение прежнее, какое господствовало в студенческой среде десять и двадцать лет назад, откорректировало бы в Веронике нужное направление сочувствия и ненависти. Однако – и это только в нашей многотерпеливой, рабской стране возможно! – в после-революционном угнетении студенчество не закалилось, не настрожело для борьбы, а поддалось общей усталости, сомнениям, наговариванию мутных пророков. Учащаяся молодёжь как будто забыла о заветах великих учителей, забыла даже о самом народе! Стало модно оплёвывать благодарнейшие революционные действия. После нескольких жертвенных поколений потянуло в университетские аудитории смрадной струйкой молодёжи какой-то растленной, противоречащей самому представлению: «русский студент», «курсистка». Эта новая безстыдно выставляла и даже хвасталась, что для неё святые имена Чернышевского, Михайловского, Кропоткина – просто ничто, пренебрегали, даже не прочтя их ни строчки, тем более – скучного Маркса. Молодёжь ушла в свои мелкие настроения. Если ещё продлится так несколько лет, то обломится и безславно рухнет вся великая традиция полустолетия, всё святое свободолюбивое. И в такое-то гнусное время Веронике пришлось расти и формироваться!

Но ещё и в этой среде можно было избрать себе лучших подруг, – нет, на первом же курсе бестужевских к Вероне прилипла какая-то, сгусток отравы этого времени, – Ликоня или Еля (от невозможного купеческого Еликонида). Это была девушка совсем иного мира – играющая шалью, ломкой талией, натолканная символистическим вздором, то в роли апатичной, то в роли мистичной, то как бы призрачной до умирания. То и дело она декламировала, кстати и некстати, своих модных, туманный бред:

Созидающий башню – сорвётся,
Будет страшен стремительный лёт,
И на дне мирового колодца
Он безумье своё проклянёт.

Играла голосом, но ещё больше ресницами, сразу замечались её глаза с их отдельной красотой, переблескивающим значением, будто она видела в окружающем совсем не то, что все остальные. И голову переводила с медленным недоумением, а густые чёрные волосы были свободны до плеч, как у красавицы большого опыта. На волосах иногда лента, а на плечах шаль всегда, и Еля постоянно ёрзала ею по фигуре узкой, почти без таза, что тоже теперь считалось модно, и ещё лелеяла эту линию, нося прямые, узкие, гладкие платья без пояса.

Тем была ещё вдвойне ядовита эта девица, что не только с Вероней сдружилась не-разлей, но приезжал из армии на побывку Саша – она и Сашу околдовала, он поедал её глазами и

сразу поглупел, потерял свой гордый независимый вид, которым так напоминал не отца своего, осмотнительного присяжного поверенного, а почти точно повторял дядю, героя Антона. (Саше и подходило сейчас под столько лет, в каких Антон был повешен, – это был оживший Антон!)

Но что могло быть в голове этой девчонки, такой значительно-загадочной в поворотах? За чайным столом и мимоходом при всяком случае, вопросом или спором, зоркие умные сёстры пытались выведать: что же там, в этой небольшой голове под такой россыпью волос? есть ли вообще какой материал? Ведь она явно не жила светлым руководством разума.

– Но какая всё-таки перед вами задача, девочки? Жизненная цель?

Девочки перехмыкивались, Ликоня устаивала вытянутыми подушечками губ, следя, чтоб они красиво сложились:

– Жить.

– Что – жить? Вообще – жить? Но – *как* жить?

Переглядывались, старались уклониться. Но если требовать неотступно, Вероника начала говорить назидательно, как младшим:

– Ах, тётеньки, вы хотите нам навязать *прогресс*? Но всё политически прогрессивное – очень отсталое культурно.

Нетерпеливая Агнесса выпыхивала вместе с дымом:

– А между тем ответ очень простой: наша задача, наша общая основная задача – борьба с властью!

Два носика, поуже и пошире, морщились:

– И что же потом?

– А когда падёт нынешний строй, спадут все цепи угнетения и откроются все возможности, в том числе и для культуры.

Ликоня стреливала испуганными глазками, движение вероятно отрепетированное:

– А если нет?

– Что нет?

– Если – не откроются?

– Откроются! – согласно отвечали тётки. – Гарантия в том, что наша интеллигенция – здорова, и её порыв обещает светлый выход больной стране. У России могло быть жалкое прошлое, ничтожное настоящее, но будущее её – грандиозно.

– Ах, тётеньки, – снисходительно вздыхая и губы чуть покривляя. – Да понимало ли ваше поколение, что такое *культура*? Деятнадцатый век имел серую культурную атмосферу.

Только задохнуться, словами не выразить:

– Наш век – серую? Наш?!.. Ну, ты просто... Ну, вы просто...

Девочкам даже может быть и жаль, но:

– Конечно. Всякие общественные идеи – неизбежно узки. Всё, что плыло с 60-х годов. Что у нас было? Политика, социализм, вся литература переперчена социальностью, вся живопись испорчена... Культуры как комплекса у нас...

– Да если б вы хоть с Шестидесятыми могли равняться! А то ведь нигилисты – именно вы. Как этот ваш кумир: к добру или ко злу —

...Есть два пути,
И всё равно, каким идти, —

да?

Не те нигилисты – светлые начинатели, оболганные дворянским миром и писателями-помещиками, а вот эти – с «Аполлонами» и «Золотыми рунами».

Ликоня морщила лобик:

– Мы должны быть гражданами Вселенной.

Если спор затягивался, Вероника тоскливо вздыхала:

– Ах! Мы не знаем ни скандинавской литературы, ни французских символистов, а хотим о чём-то судить!

Мы– надо было понимать: тёти не знали, *они*-то знали!..

А если тёти очень уж напирали, девочки выскальзывали как-нибудь так:

– Ну хорошо, лучше заблуждаться, но идти своим путём, чем повторять избитые истины.

А когда, для окончательного выведывания, настигали их тёти уже не в общественных вопросах, но в самой их цитадели – в любви, и проверяли высоту её каким-нибудь жгучим давним интеллигентским вопросом:

– Как по-вашему – высокая истинная любовь допускает ли ревность? —

девочки вытягивали веки и ресницы и как-нибудь так:

– Слово «любовь» вообще лучше избегать. Можно затрепать и убить её одним только употреблением слова.

Одна, дома, Вероня проявлялась гораздо развитей, но при Ликоне глупела, и никак невозможно было их сдвинуть.

И теперь вот, в первые дни войны. (Агнесса, суеверная к датам: «А кто заметил, в какой день началась война? В день подавления Свеаборгского восстания! Это будет – историческое возмездие!») Теперь, когда война началась, – и эта жуткая эпидемия патриотизма непредсказанно, внезапно захватила, запьянила даже рабочий класс Выборгской стороны, прервала его великолепные забастовки, привела его покорного с казёнными знаменами (а красные – свёрнуты) на призывные пункты вместо того, чтобы всем взбунтоваться и отказаться от призыва. А ещё страшней – позорная рабская сцена на Дворцовой площади, на той самой Дворцовой, где запеклась, ещё не испарилась кровь расстрела 9 января – и десятки тысяч свободных, непринуждённых людей – кто заставлял их? кто стянул их туда? какая сила ослабила их подколенки? – опустились на колени перед ничтожной императришкой на балконе безвкусно наляпанного дворца – опустились не лавочники только, не мещане, – опустились интеллигенты! опустились *студенты*! – и в едином экстазе пели «Боже, царя храни»!?? Наш великий император, наш великий народ – разве это не черносотенство? И ещё несколько дней после того бессмысленная толпа с гимнами ходила по городу. Что с ними случилось со всеми? Безнадёжный народ. Безнадёжная страна. Как же можно с такой лёгкостью забыть казни, *стольпинские галстуки*, издевательства над свободной прессой, процесс Бейлиса – и опуститься на колени в гимне?! Нет, эта страна достойна была своего порабощения – царского, татарского, хазарского, какого угодно, это не страна, не народ! Но – интеллигенция??? Как же могла родиться эта *всеподданнейшая* (от одного слова кишки выворачивает, как можно этого не слышать?) телеграмма совета Петербургского университета: «Верьте, Великий Государь, *ваши* университет горит стремлением посвятить свои силы на служение вам и отечеству», – без этого-то холуйства можно было обойтись?

– Что вы об этом думаете, девочки? Вероня, что ты об этом думаешь?

Вероня, со своим добротным спокойным взглядом:

– Ну, вкуса нет, конечно.

Ну хоть с начала начинай!

– Вку-уса? Да «Великий Государь» – это не черносотенство? А если бы ваши курсы такую телеграмму – вы бы протестовали? ваши подруги – протесто...?

– Ну, тё-тя, – как от невозможного поводи́ла Вероника, – но в этих протестах, уходах – ещё же меньше вкуса! Это – стадность...

В том и трагедия: ни к чему происходящему они никак не относились! Их современный нигилизм состоял в том, что они были безчувственны к подлостям и предательствам. К гражданскому пафосу их уши и сердца были заложены, а какая-нибудь глупенькая выставка «Мира

искусства» казалась им откровением. Куда подевался душевный огонь русского студенчества? Что за лишай на молодёжь!

Да что говорить о молодёжи, если сама Государственная Дума сыгралась в траги-опереточном однодневном заседании поддержки национальных восторгов? Сойтись на один день, пропеть хвалу империализму и тут же разойтись – это разве похоже на достойный парламент? Хотя надо признать: социалистические депутаты всё-таки не дали себя заморочить. Хаустов пообещал: социалистические силы всех стран сумеют превратить нынешнюю войну в последнюю вспышку капиталистического строя. А блистательный Керенский в смелой речи успел нахвалить упрёков власти: что затыкают рот демократии; и что даже сейчас не дают амнистии политическим борцам; и не хотят примириться с угнетёнными народностями в Империи; и бремя военных издержек возлагают на трудящихся. Всё это сумел сказать, смельчак, не подавленный патриотическим рыком вокруг, и «неискупимую ответственность» за войну не пропустил, а в заключительном восклицании искусно-тонко намекнул на революцию: «Крестьяне и рабочие! Защитив страну, освободите её!» А в думском отчёте жульнически *ошиблись*: «Крестьяне и рабочие, *защищайте* страну, освободите её!» – то есть будто бы от немцев освободите! – только *у нас* можно так нагло безнаказанно выворачивать мысль!

А по этим девушкам – только скользило, бровями не вели. И то политическое ободрение, какое выступало из просочившихся теперь известий о поражении наших войск, – тоже миновало их. Они безразлично выслушивали по необходимости, Вероня с мягким упорством, Ликоня с рассеянным недоумением, вяло доедали варенье, косились на часы. Возражать – они даже не искали, они – презирали бы возражать, только пофыркивали на старомодность. Им – всегда нужно было идти куда-нибудь из их глуховатого угла 21-й линии и Николаевской набережной, – но не в рабочую школу, конечно, не нести просвещение народу, а самим смаковать-потреблять: на спектакль, на поэтический вечер, на лекцию о «ценности жизни» или на диспут о «проблемах пола».

Если же оставались дома, то это было иногда и оскорбительней. В той же столовой, где большой портрет Михайловского и невдали от портрета дяди Антона с его предчувствованной обречённостью, плотноватая Вероня, с ворохом волос над неуклончивым лбом и мнимо-глубинным взглядом, садилась на диван, поджав ногу, а маленькая Ликоня, стоя у стены, кончиками пальцев, запутанных в шали, упираясь позади себя, покачиваясь корпусом и головой, с недоуменным видом, вопросительным маленьким детским ртом, выражала себя словами заёмными, стихами кощунственными:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.